

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛЕЙКИН

**НЕУНЫВАЮЩИЕ
РОССИЯНЕ.
РАССКАЗЫ И
КАРТИНКИ С
НАТУРЫ**

Николай Александрович Лейкин

Неунывающие россияне

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48450205

Аннотация

Предлагаем вашему вниманию лучшие рассказы из сборника «Неунывающие россияне» русского писателя Николая Лейкина, автора знаменитых «Наших за границей». В книгу, которой автор дал подзаголовок «Рассказы и картинки с натуры», вошли рассказы «Коновал», «Из жизни забитого человека», «У гадалки», «Былинка и дуб» и зарисовки «Наше дачное прозябание» – юмористическое описание дачных пригородов северной столицы и типов населяющих их петербуржцев.

Содержание

Коновал	5
Из жизни забитого человека	47
I. От купеческого сына Михаила Григорьева Армякова, к другу его Пантелею Иванычу Мамзину, в Москву	47
II. От Иерея Игоря Силоамского к купцу Григорию Кузьмичу Армякову	50
III. От купеческого сына Михаила Армякова к другу его Пантелею Мамзину	52
IV. От купеческого сына Михаила Армякова к Пантелею Мамзину	54
V. От Михаила Армякова к Пантелею Мамзину	56
VI. От Михаила Армякова к Пантелею Мамзину	58
VII. От купеческого сына Михаила Армякова к Екатерине Кроликовой	60
VIII. От Екатерины Кроликовой к купеческому сыну Михаилу Армякову	62
IX. От купеческого сына Михаила Армякова к Пантелею Мамзину	63
Наше дачное прозябание	64
I. Лесной	64

II. Черная Речка	74
III. Новая Деревня	82
IV. Парголово	94
V. Коломяги	104
VI. Крестовский остров	115
VII. Волынкина Деревня	127
VIII. Карповка	140
IX. Павловск	153
X. Ораниенбаум	167
XI. Каменный остров	181
XII. Старая Деревня	195
XIII. С дачи в город	207
У гадалки	218
Былинка и дуб	225

**Николай
Александрович Лейкин
Неунывающие
россияне. Рассказы
и картинки с натуры**

Коновал

Перенесемтесь, читатель, в Ямскую, в этот патриархальный уголок Петербурга, орошаемый замечательной по своей двухсаженной ширине речкой Лиговкой. Петербуржцы знают этот уголок; для провинциалов же скажем, что он преимущественно населен извозчиками; фабричными, мастеровыми, мелким купечеством и деревенским людом, пришедшим в Петербург на заработки. Поденщики, поденщицы, безместные лакеи, кухарки и горничные всегда здесь находят себе угол за рубль или полтора рубля в месяц. По своему внешнему виду и нравам уголок этот удивительно как походит на провинциальный городок. Для полноты сходства недостает только острога, этого неизбежного, наводящего уныние, здания каждого уездного города, и чиновничества. Чиновный

люди часто хоть и гнездятся в самых отдаленных кварталах Петербурга, но в Ямской, менее отдаленной от центра города, почему-то не живет. Итак, к делу.

В один прекрасный вечер на постоялый двор, содержащийся в одной из улиц Ямской теткой Галчихой, пришел постоялец и потребовал ночлега. Постоялец этот только что приехал в Питер по железной дороге и отличался довольно странным видом. Он был невысокого роста, коряв и череп из лица, крив на левый глаз, имел щипаную бородку, глядящую куда-то в сторону и как-то странно вывернутую кверху ноздрю. На вид ему было лет под сорок. Таких людей, обыкновенно, называют плюгавыми. Невзирая, однако, на свою плюгавость, постоялец держал себя важно, говорил с расстановкой, поминутно подбоченивался, и потребовав на ужин щей, гордо косился своим единственным глазом то на хозяйку, суетившуюся около печи, то на сидевшего с ним за одним столом и евшего кашу мужика, то на разувавшегося на лавке отставного солдата. Похлебав щей, постоялец начал разбираться в принесенных им с собой мешках. Из одного он вынул лошадиный череп и синий кафтан, из другого – большой козлиный рог и банку со змеей в спирте. При виде этих предметов сидевший у стола мужик, покосившись, отодвинулся, хозяйка перекрестилась, а солдат кашлянул, и, проговорив «ишь ты какая штука!», подошел к постояльцу.

– К чему-же, таперича, вам эти шкилеты будут? – спросил он и робко ткнул пальцем в лошадиный череп.

– Снадобья... все на потребу, от лихих болезней, – ответил постоялец, бережно осмотрел перед сальным огарком свое имущество, и, поставив его под собой под лавку, начал укладываться спать на разостланном тулупе.

Солдат в недоумении стоял перед ним и ковырял у себя в носу.

– Так, так... на потребу... Разные болезни есть. Что-же вы теперь будете? Лекаря, что ли? – спросил он.

– Коновалы и лекаря. Всякую болезнь лечить можем и всякую болезнь нагнать, ежели – все в нашей власти... – важно проговорил постоялец, и растянувшись на лавке, отвернулся к стене.

Солдат многозначительно взглянул на хозяйку и кивнул на коновала: «вот дескать какая птица!» Хозяйка видимо опешила. «Бог его знает, какой он такой человек! – подумалось ей – ещё болезнь какую ни-на-есть напустит». В голове её мелькнуло, что коновала надо задобрить.

– Что-же так-то лег? Сем-ка, я молочка подам. Похлебаешь... – продолжала она.

Коновал отказался.

– Кафтан-то из-под лавки под себя возьми. Здесь, ведь, постоялый двор. Ночь-то велика. Народу всякого понабраться может. Не ровен час...

– Не бойсь. Цел будет. Я слово заговорное знаю. Пусть-ко кто польстится, так из избы цел не выдет, – самоуверенно и не оборачиваясь, отвечал коновал.

От слов этих хозяйка еще более опешила. У неё даже задрожали ноги. Кой-как знаками она начала вызывать солдата и мужика на двор. На дворе составился совет.

– Ах грехи, грехи! Вот не было печали, так принес Господь лихого человека, – говорила она. – Как тут быть?

– Да чему ж быть-то? Сведущий человек. Такие люди бывают, – сказал солдат.

Мужик молчал, вздыхал и чесал живот.

– Всякую, говорит, болезнь напустить в нашей власти, – продолжала хозяйка; – не испортил-бы он меня!.. Голубчики, уж вы не оставляйте меня. Ложитесь со мной за перегородку, – упрашивала она мужика и солдата.

– Будь покойна, не оставим, – утешал солдат. – Чего-ж бояться! Ведь ему никто худого слова не сказал.

Мужик наотрез отказался спать в избе.

– Нет, уж ты там как хочешь, Андреяновна, а я под навес... потому христианской душе в одной избе с падалью ночевать не приходится. Вишь, там у него змей? Нешто это возможно? – сказал он, и действительно, невзирая на холодную осеннюю ночь, спал под навесом.

Хозяйка хоть и легла спать у себя за перегородкой, хоть и положила недалеко от себя солдата, но всю ночь не могла сомкнуть глаз и творила молитву. Раз десять в течение ночи окликала она и ошупывала солдата и поутру поднялась чуть только забрежился свет. Коновала уже не было в избе. Из-под лавки выглядывал лошадинный череп. Она вышла на

двор. На опрокинутой кверху дном койке от телеги сидел коновал и покуривал трубку.

– Хозяюшке почтение! Желаю здравствовать! – сказал он. Это ваша коровка-то всю ночь мычала? Надо статья – хвораёт. Дай-ко я посмотрю, что с ней?

Услыша ласковый привет, хозяйка приободрилась.

– Да вот и сама не знаю, что с ней попритчилось. Вторую ночь мычит, – отвечала она и повела коновала в хлев. – Только ты, голубчик, не попорть её. Мы люди бедные... – добавила она, кланяясь.

– Зачем за ваши ласки портить? Мы её вылечим, потому, таперича, мы это дело туго знаем. Мы у помещика, у генерала Залихваньева шесть годов над всеми скотными и конными дворами главным коновалом состояли. Коровы были всякие: и тирольки, и лимонские. А что до лошадей, так были такие, что и цены не было, – говорил коновал, следуя за хозяйкой в хлев.

Прийдя в хлев, он осмотрел корову, пощупал у нее нос, хвост, уши и задумался. Хозяйка следила за ним взором.

– Червь у нее в животе. Нутро топит, сказал он наконец. – Кровь-бы ей из ноги кинуть, да коровенка-то молодая. Ну, да мы и так справим, добавил он – засучил рукава, пошептал что-то корове в ухо, три раза плюнул, и вырвав у нее из хвоста несколько шерстинок, подал хозяйке.

– Заверни в бумажку, да сожги ужо, как печь топить будешь. Червь сам выдет. Да вот еще что: как корм задавать

будешь, так присаливай хорошенько.

– Все исполним. Много тебе благодарны, батюшка! Как величать-то?

– Данилой Кузьминым.

– Уж я тебя ублагодворю, Данило Кузьмин. Дай только печь истопить. Пообедаешь у меня.

– Ладно. Только за одно ублажи вот чем еще. Нет-ли у вас тут фатерки поблизости? Так гореньки крохотной. Потому мы тут остановиться думаем.

– Это что, это пустое дело, это можно. Вот тут рядом рубля за два с полтиной горенку отдадут.

– Ну, так и делу конец! Сватай! А мы тебя завсегда в почёте держать будем.

Часа через два рано пробуждающаяся улица, в которой остановился коновал, благодаря языку хозяйки и её боязливых знакомых, почти уже вся знала о появлении знаменитого коновала и лекаря, выгнавшего из больной коровы червя. Нашлись люди, которые рассказывали, что они сами видели этого червя.

– Большущий-пребольшущий и весь в шерсти, – рассказывала в трактире какая-то прачка-поденщица, пришедшая в трактир сварить кофий. Вышел он из неё и пополз, и пополз...

– С крыльями? спрашивал прачку кто-то из присутствовавших.

– Не заметила, голубчики. Греха на душу не возьму,

не заметила, отвечала она, и приложив руку к щеке, прибавила: Господи, какая нечисть на белом свете бывает!

– Вот-бы этому червю в нашего хозяина войти. Авось меньше-б над женою командовал. Вчера таких синяков понаставил, что живого места не найдешь. На силу отняли, – сказал мастеровой, прибежавший растопить клей, и захохотал.

– А ты что зубы скалишь? Нешто в человеке такой нечисти не бывает? заметил кухонный мужик. Ещё хуже. У нас в деревне у родного моего дяди змея в утробе сидела. На-смерть пил. Потому она этого самого вина требовала. А как выгнали из него, – и пить перестал.

– Спаси Господи и помилуй всякого человека! – закончила прачка и выбежала из трактира.

Часам к двум дня коновал, угощенный хозяйкой постоялого двора обедом, водкой, ночлегом и снабженный двугривенным денег, уже перебрался к себе на квартиру, которую нанял за два рубля в месяц, хотя квартира эта, то есть комната, и ходила прежде по три рубля. Домохозяйка, вдова ямщикка Поругаева, до того запугалась свирепым видом и славою о всемогуществе коновала, что отдала её не торгуясь, за то что он ей предложил.

Коновал поселился в маленьком, ветхом домишке с поросшей травой крышею и с покачнувшимися, вечно мокрыми воротами, полотна которых были испещрены местными живописцами и публицистами изображениями животных и

надписями вроде: строго воспрещается... и т. п. На дворе дома в развалившейся избе жили извозчики; под навесом помещались их лошади, экипажи. В лицевом флигеле, где находилась и коморка коновала, кроме его и домохозяйки, жила прачка-поденщица – молодая, красивая баба, вдова солдата, ходившая полемойничать и «стирать в люди», какая-то старуха, жившая щедротами доброхотных дателей и вспоминая о давно прошедших счастливых днях, проведенных ею в экономках у статского генерала Разструбина, и ярославец с женой, торговавшие в шалаше, устроенном в заборе: сбитнем, квасом, пряниками, мылом, ржавыми гвоздями и кнутами. Прийдя в квартиру, коновал тотчас-же начал устраиваться, вследствие чего в углу появилось ложе, сколоченное из досок и четырех поленьев, на подоконнике разложились и разставились пузырьки с «зельями», как он их называл, банка с змеей, козлиный рог, лошадиный череп и бумажки с толченым кирпичем, купоросом и пр. На стене развесились пучки сушеных трав, шкуры, содранные с угрей, и галочки крылья.

Появление коновала в доме вдовы ямщички Поругаевой произвело сильную перемену в действиях обитателей дома. Голосистая, поющая песни прачка Василиса, стирившая в сенях белье, умолкла; старуха-жиличка, генеральская экс-экономка, вечно переругивавшаяся с квартирной хозяйкой из-за кофейника и «переварок», – смирилась и только злобно кивала головой; торговцева жена, которой нужно было ру-

бить на ужин капусту, удалилась для воспроизведения этого процесса на двор, под навес; сама-же хозяйка, обладавшая звонким голосом, говорила шопотом; когда же коновал, разместя свое имущество, задумал почить от дел, и, разостлав тулуп, улегся на свое ложе, она раз десять выбегала на крыльцо, чтобы кинуть щепкой то в раскудавшуюся курицу, то в горланившего петуха. Одним словом, на всех обитателей дома напала какая-то робость. Робость эта перешла в невольный страх, когда коновал, поспав с час, вышел на улицу погулять, а хозяйка и жильцы вошли в его коморку и начали разсматривать его имущество, разложенное на подоконнике и висевшее на стене.

При виде таких, в сущности обыкновенных предметов, как череп, змея и галочки крылья, но в глазах обзирающих приобретших таинственное значение, все так и ахнули. Началось всплескиванье руками, отплевыванье, осенение крестным знаменем и было решено, чтобы с жильцом обращаться как можно ласковее и предупредительнее, дабы не навлечь на себя его гнева, а с ним вместе и его последствий – в виде порчи, икоты и тому подобных болезней. Осмотрев имущество, все тотчас-же бросились поделиться своим впечатлением с соседями. Соседи пожелали убедиться лично, вследствие чего, на улице, около окна коновала, образовалась преизрядная толпа мужчин и женщин. Все это теснилось и старалось заглянуть в окно. Со всех сторон слышались предположения, что змея, находящаяся в банке, по

ночам будет вылетать в трубу. Какой-то мастеровой с ремешком на голове решил не спать всю ночь, и во что бы то ни стало подкараулить змею.

Народ долго-бы еще толпился у окна, ежели бы из-за угла не показался сам коновал.

– Батюшки! Вон он и сам идет! – крикнула находившаяся в числе зрителей торговцева жена и опрометью бросилась к мужниной лавчонке.

Толпа, как-бы застигнутая на месте преступления, оробела и медленно начала расходиться, косясь на приближавшегося коновала.

Коновал шел важно, закинув руки за спину. Завидя народ у своего окна, он ещё выше задрал голову.

«Ага, рассматривают. Ну, погодите-же, не такую я вам еще штуку на показ выставлю, а почуднее. Дай только мне летучую мышь найти», проговорил он про себя и вошел на двор.

Начинало смеркаться. В кухне хозяйка пила чай.

– Чай да сахар! сказал, входя, коновал.

– Милости просим. Выкушайте, предложила она.

– Что-ж, побаловаться всегда можно, отвечал он и сел.

Разговор не начинался. Коновал пил чай, громко прихлебывая с блюдечка. После второй чашки, хозяйка, наконец, обратилась к нему с вопросом:

– Что-ж, вы это, таперича, будете лекарством заниматься?

– Да, лечить будем, потому мы коновалы и этому делу с измалетства обучены.

– Уж вы будьте надежны... У нас завсегда покой будет.

– Это точно. На счет покою первое дело, потому я иногда в забытье... особенно, когда какое ни-на-есть мудреное снадобье требуется, – сказал коновал и начал рассказывать, что он у генерала Залихваньева шесть годов главным коновалом состоял, что лечил не только один скот, но из всех окрестных деревень к нему мужики приходили. Что он одного купца даже после особорования на ноги поднял; исцелил в своей деревне старостику, которая была испорчена и целый месяц хрюкала по-свинячьи, и даже пользовал самого исправника, страдавшего ломотой в «коренной косточке». Во время рассказа в комнату вошла прачка Василиса, старуха генеральская экс-экономка, и торговцева жена и сели поодаль. Заметив слушателей, коновал воодушевился ещё более и поведал, что ученые доктора ничего не знают, что они только морят людей, что есть, правда, один ученый доктор Пирогов, который всякую болезнь лечить может, но и тот приобрел свою ученость не в книжках, а его научил один умерший «солдатик» в Севастополе, так как солдатику этому в «отражении» бомбой все нутро вывернуло. Во время рассказа слушательницы сидели молча и только изредка вздыхали и покачивали головами. В заключение коновал прочел целую лекцию по части анатомии и патологии человеческого тела, из которой слушательницы узнали, что человеческое мясо висит на костях, пришитое жилами, что внутри у человека «требуха», сердце и печенка, которая «с сильных сердец»

может лопаться, что вся требуха опутана жилами, в которых течет кровь, что в крови часто накапливается всякая «дрянь», вследствие чего человек бывает болен и нужно «бросать» кровь, что кровь эта выходит печёнками и чтоб остановить эту кровь, нужно непременно «заговорное слово» знать.

Выпив с полдюжины чашек чаю, коновал обернул кверху дном чашку, положил на доньшко огрызок сахара и, раскланявшись с хозяйкой и её жиличками, ушел к себе в комнату.

Из паспорта, отданного коновалом хозяйке, было узнано, что он бывший дворовый человек. Такое столь не высокое звание и довольно ласковая беседа за чаем всех немного успокоили. В комнате хозяйки, однако, еще долго шептались о нём и ночь была проведена не совсем спокойно. Правда, сама хозяйка спала крепко, но благодаря чайной чашке водки, выпитой перед сном; экс-экономке же грезилось, что её кто-то хватил за пятки; а торговцева жена поутру всем и каждому рассказывала, что её всю ночь кто-то душил и на своём лице она даже чувствовала прикосновение какой-то шерсти.

На утро коновал проснулся рано – было воскресенье. Надев на себя кафтан и опоясавшись ремненным поясом, на котором висели эмблемы его ремесла – в виде сумки, ланцетов с доброе долото и различных шил, он вышел на двор. На дворе извозчики мыли лошадей и экипажи. Завидя коновала, они снимали шапки. Появление его на их дворе было уже передано им, с мельчайшими подробностями их артельной «маткой», то есть стряпухой. Коновал приблизился к ним,

пощурил на лошадей свой единственный глаз, и, выбрав лошадку покрасивее, подошел к ней, с видом знатока, ударил её ладонью под пах и спросил «по чем дана?».

– Да не купленная, из доморостков, отвечал извозчик.

– Лошаденка жиденьякая... процедил коновал и начал смотреть ей в зубы.

– Жидка-то жидка, лошаденка не видная, да зато хоть рысь есть, вмешался другой извозчик. А вон я лето-с у хозяйина жил и у меня была лошадь: из себя король, а рысь – курица обгонит и к кнуту не почтительна. Хоть ты её зарежь! Ты её кнутом, а она хвостом...

– Ну, коли лошадь молодая и в силе, так значит порченная. Тут рысь нагнать можно. Заговор есть. У нас таких лошадей может тыща в переделе перебивало, похвастался коновал.

– Казали тогда коновалу, да без пути... Это, говорит, лошадь двухжильная, её под лом надо.

– Двухжильная! Много знает твой коновал! Двухжильных лошадей может на всю Расею штук шесть... За двухжильную лошадь, на царскую конюшню ежели, – сейчас десять тысячев дадут. Мели, знай!

– Что-ж лаешься! Коновал тогда брехал.

– Вы скрыпинские, почтенный, будете? – спросил коновала третий извозчик.

– Нет, мы из другого места. Уж скрыпинских-то коновалов теперь, брат, слава отошла и ничего они не составляют.

Вся цена-то им грош.

– В славе были.

– Были да сплыли. Дай-ко ему лошадь от отпою заговорить – не сумеет, сказал коновал. Уж вы, ребята, коли что на счет лошадей, так я вот тут с вами живу, закончил он и начал уходить.

– Будь покоен... Не обойдем... Наслышаны... Зачем в чужие люди лезть? – слышалось ему в след.

Коновал отправился в трактир. Ему пришлось проходить мимо шалаша торговца, который жил с ним вместе на квартире. Шалаш был уже отворен. Торговец, рыжебородый, дородный ярославец, расправлял молотком на куске железа старое гвоздьё. Около него торчала его жена, грудастая баба, в длинном синем суконном шугае и в красном ситцевом платке на голове. Торговец и его жена поклонились коновалу. Тот ответил на поклон и сказал: «Бог помочь».

– Милости просим на перекупье. Не погнушайтесь, – пригласил торговец. Жена молчала и только кланялась.

Коновал вошел и сел на лавку.

– Сбитеньку не желаете ли?

– Благодарствуем, потому в трактир идем и там чайком побалуемся.

– Это точно, чаек много полезительнее. Яблочка не желаете ли?

Коновал взял яблочко, и спрятав в карман, начал обозревать лавчонку. Минут через пять торговец, страдавший ка-

ким-то недугом в ноге, показывал уже коновалу разутую ногу. Коновал щурился и тыкал в ногу пальцем. Баба стояла поодаль и отирала кончиком головного платка нос.

– Надо статься, это у него с перепугу, говорила она: – потому пужлив он очень. Летос тут у нас пожар был, а он в бане парился. Так испужался, что нагишом выскочил. С тех пор и началось.

– Нет, тут особь статья. Тут волосяник сидит. Червь такой есть. Верно в речке, где лошадей моют, купались, сказал коновал.

– Это точно... тут как-то об Ильине дне на Волково кладбище ходил – так баловался.

– Ну, вот он и влез. Его заморить нужно, а то он может под сердце подойти. Ужо толкнись ко мне, – я мази дам, заключил коновал, попросался, в виде дани снял со стены связку баранок, запихал её в карман и пошел в трактир.

Пришедши в трактир, коновал потребовал чаю. Половой поставил перед ним прибор. Коновал начал уже полоскать стакан, как вдруг к нему подбежал буфетчик и схватил со стола прибор.

– Извините, заговорил он – не того чаю дали. Мы вас не знали, а этот чай, известно, для простого народу... Пожалуйте к буфету на купеческий стол. Другого засыпал.

Такого рода почёт приятно пощекотал нервы коновала. Он отправился на купеческий стол. Оказалось, что извозчик живущий на одном дворе с коновалом, прийдя также в трак-

тир и увидав этого сведущего мужа, тотчас указал на него буфетчику и сообщил о его искусстве и премудрости. Буфетчик, ещё вчера слышавший о знаменитом выгнании из Галчихиной коровы червя и имея нужду в коновале, счел за нужное почтить его «купеческим столом» и «особенным» чаем. Результатом всего этого было то, что когда коновал влил в себя два чайника кипятку, буфетчик подсел к нему и стал жаловаться на какое-то щемление под сердцем и «свербление» в затылке.

– Кровь пустить надо, сказал коновал: потому это значит, что она наружу просится.

– Да уж и то по весне, почитай, десять банок на спину накинул.

– Жильную пустить нужно. Та кровь ничего не составляет. Её хоть ведро выпусти – все без пользы. В нашем месте вот тоже один купец был болен, так тот каждый месяц себе банки накидывал, по полуштофу крови выпускал, и ничего не помогло, так и помер.

На прощанье буфетчик поднес коновалу стаканчик «с бальзанчиком», ничего не взял за чай, сказав, что «даже и первого вола в гурте не бьют» и просил «жаловать напередки».

Вечером коновала звали помочь какой-то купчихе – трудной родильнице. Коновал взялся помочь, послал родильнице угриную кожу, велел ей опоясаться, наделал топором на воротах дома, где жила родильница, несколько зарубок, по-

требовал её волос, и в присутствии мужа, зарыл их на дворе под камнем, за что и получил два рубля.

«Ну, дело кажется на лад идет!», подумал он, ложась спать и радостно потирая руки;— «тут жить можно!» и окутавшись тулупом, начал засыпать.

Слава коновала Данилы Кузьмича росла с каждым днем и скоро распространилась по всей Ямской. Все знали его по имени и все ему кланялись. Лечил он и лошадей и людей от всех болезней. Не было такого недуга, перед которым бы он останавливался. Правда, лекарства его были не многочисленны, но зато, по уверению больных, отличались «пользительностию». Так «от живота» — настойкой на трилистнике и тысячелистнике; от лихорадки заговаривал и давал пить дубовую кору; раны прижигал купоросом; от ломоты лечил мазию, и предписывал ими мазаться непременно в бане, для того, чтоб «всякая дрянь» потом выходила. Мази эти он составлял сам и примешивал к ним всё, что попадется на глаза, или придет в голову: деготь, толченый кирпич, уголь, ладан, сулему, бадягу, лошадиный навоз и пр. Всякое лекарство давалось, обыкновенно, с какими-нибудь таинственными наставлениями вроде: пить по три зари сряду, предварительно продев посуду сквозь колесо от телеги, или перед натиранием, подержать себя за большой палец на левой ноге и помянуть Фрола и Лавра, и т. п. Вообще в наставлениях его о лечении фигурировали очень часто фразы: «кровь попорчена, много дряни накопилось, кинуть надо», и «возьми, ку-

пи полштоф водки, настой её (тут произносилось название травы) и пей всякий день по стаканчику, как только солнце сядет». Последнее наставление удивительно как приходилось по сердцу всем хворавшим обитателям Ямской и они исполняли его с буквальной точностью. От зубной боли Коновал давал жевать какие-то бумажки, наставив на них таинственные каракули. Он был плохо грамотен, с трудом «разбирал по печатному», писать вовсе не знал и мог только ставить «цихвирь». Обстоятельство это он, впрочем, тщательно скрывал, потому что имел у себя на квартире огромную книгу в кожанном переплете – какой-то немецкий словарь – которую он впрочем называл «лекарской книгой» и в разговоре часто вставлял; «а вот мы в книжку посмотрим, что там прописано». Книга эта, впрочем, никогда не раскрывалась; она была завязана крест-накрест веревкою, концы которой были припечатаны тремя печатями, и лежала на окне. Коновал знал, что слава его происходит, главным образом, от таинственных предметов, которыми он себя окружил, и потому старался как можно больше «напустить» этой таинственности. Заметив, что лошадиный череп, змея и галочки крылья, разложенные на окне, производили эффект и говор, он каждый день начал притаскивать к себе на квартиру что-нибудь особенное; так, на окне, среди уже вышепоименованных предметов, появились заячьи ноги, собачий хвост, летучая мышь, распяленная на доске, и какой-то большой камень, весь испещренный красным карандашом.

Коновал жил на квартире тихо и смиренно. Правда, по временам напивался пьян, но не буянил, и по уверению хозяйки, «безобразиев не делал». Раз только ночью потребовал он у неё водки и когда она, за неимением её, отказалась дать, то начал колотить по столу и запел ей назло «со святыми упокой», но вскоре повалился поперек своего ложа и захрапел. На свои он пил редко. Он пользовался такою популярностью и таким почётом, что ему только стоило показаться в трактире или кабаке, как сейчас находились люди, желавшие его угостить. Хозяйка, питавшая к нему при переезде его к ней на квартиру какой-то непреодолимый страх, мало-помалу привыкла к нему, перестала трепетать в его присутствии, но все-таки по-прежнему была предупредительна в его малейших желаниях. Но всех больше боялась его и в тоже время имела к нему какую-то симпатию – прачка Василиса. Без приказания и просьбы с его стороны, она стирала ему белье, мыла два раза в неделю пол и окно в его комнате, прибирала его добро; всякий раз, когда пила сама, старалась ему предложить кофею, и раз, заметив даже, что у него всего на всё одно полотенце, запихала ему под подушку своё собственное. И все это делала она безвозмездно, не слыша даже слова «спасибо». Коновал-же, наоборот, за все её услуги платил ей косым взглядом, грубостью и надменностью. Заварит ли она щёлок и начнет стирать бельё, он сейчас же является и говорит: «Опять навоняла! Вот-бы тебя саму этим щёлоком ошпарить»; вмешается-ли она в разговор, коновал

сейчас обрывает её фразой: «уж молчи, сиди толчеёй, коли гирей пришибло». Слово «дура» и изречение, «что у бабы волос долог, а ум короток», слышала она на дню по нескольку раз. Нелюбезность его к ней дошла до того, что раз он заподозрил её даже в краже обмылка, который принес с собой из бани. А между тем, такую нелюбезность трудно было объяснить, так как Василиса кроме услужливости была красивая молодая баба, лет двадцати восьми. Она имела удивительно доброе сердце, не сердилась на грубости и брань коновала и продолжала ему услуживать. Достаточно коновалу было прилечь на постель, и, ежели это Василиса замечала, тотчас начинала ходить на цыпочках и каким-то шопотом с присвистом сообщала хозяйке и жиличкам, что «Данило Кузьмич опочивать легли». Выйдет ли он поутру из своей коморки умыться перед рукомойником, она тотчас же бросается к рукомойнику и подливает туда свежей воды. Ни ответа на поклон, ни ласкового слова Василиса до сих пор ещё не получала от коновала.

Однажды коновала позвали к какой-то вдове купчихе. Коновал отправился. Купчиха приняла его; когда же он спросил, какая у неё болезнь и что ей надо? она долго не решалась сказать, раза два убежала в другую комнату и наконец, закрыв лицо платком, объявила, что ей нужно приворотного зелья. Оказалось, что вдова по уши втюрилась в какого-то молодого приказчика из Гостиного двора, но тот, невзирая на её палительные взоры и, как кузнечный мех, сильные вздохи, не

обращал на неё никакого внимания. Выслушав чего от него требовали, коновал не смутился, пощипал свою бородку, высморкался, спрятал платок и, подбоченившись, сказал:

– Вам приворотного зелья? Можно. Такого дадим, что в месяц в щепу изсушит.

– Ах зачем вы? Он такой хороший. Когда-же вы мне этого зелья принесете? – спросила она.

– Послезавтра готово будет и доставим. Только зелье это не дёшево будет, потому тут, кроме собачей и кошачей крови, волчий зуб требуется. Меньше пяти рублёв нельзя.

Вдова согласилась с радостью, тотчас же дала пять рублей, велела поскорее приносить зелье, и угостила коновала до отвала. Коновал пробыл у вдовы до вечера и напился у нея, как говорится, «до елико можаху», так что, по её приказанию, был посажен кухаркой и дворником на извозчика и отправлен домой. По дороге он раза два свалился с дрожек и весь вывалялся в грязи.

Хозяйка и жиличка сидели в кухне, перекидывались словами и уже собирались спать, как вдруг со двора раздался стук в двери и крик: «эй вы, чертовы матери! Отворяйте!»! Дверь отворили. На пороге стоял еле державшийся на ногах коновал. Женщины так и всплеснули руками. Василиса бросилась было поддержать его, но он крикнул: «брысь», пихнул её в грудь, и цепляясь за углы и мебель, отправился к себе в комнату, где, разбросав свою одежду, повалился на кровать и заснул.

На утро коновал проснулся с страшною головною болью. Потянувшись и открыв свой единственный глаз, он увидел Василису. Она ходила по его коморке и подбирала разбросанные им с вечера тулуп, кафтан, шапку и жилетку. Из предосторожности, чтобы не разбудить его, она даже сняла башмаки и была босиком.

– Ты что здесь шарить? – крикнул он на нее.

Она вздрогнула и уронила жилетку, которую держала в руках.

– Будьте покойны, Данило Кузьмич, всё цело будет, проговорила она, немного оправившись. – Я вот только приберу.

– Знаем мы это: цело-то будет. Вонь прошлый раз обмылок пропал.

– Данило Кузьмич, верьте Богу, вот образ сниму, – не брала я вашего обмылка!

– Заговаривай зубы-то! Знаем мы...

Последовало молчание. Коновал глядел на Василису. В комнату заглянула кошка. Василиса пихнула её ногой.

– Ах, Господи! Как вы извалялись! Страсти Божия! – прервала наконец она молчание, рассматривая полу кафтана. – Ужо замыть надо.

– Не твое, дело! Я извалялся, а не ты! – огрызнулся коновал.

– Я не в обиду, вам, Данило Кузьмич, а так только к слову... Данило Кузьмич, у вас голова-то, поди, смерть трещит, хотите я вам укусу привяжу? предложила она.

Коновал подумал.

– Ну давай... только живо!

– Живым манером! Долго-ли тут...

Василиса бросилась из комнаты и через минуту уже во-ротилась и подвязывала коновалу голову полотенцем, обмоченным в уксусе. Кроме уксусу она принесла с собой и осьмушку водки. Повязав коновалу голову, она налила из осьмушки стаканчик, и, подавая ему, сказала:

– Выкушайте, Данило Кузьмич. Оно с похмелья-то освежает. Сейчас оттянет.

– Уж обшарила карманы-то там... Тоже народец! Не догляди только... процедил коновал, однако взялся за стаканчик.

– На свои, Данило Кузьмич, видит Бог на свои кровные купила.

– Знаем мы эти свои-то... Там у меня пять рублей было?

– Вот они. Как были в жилетке в кармане, так и остались.

Золото рассыпьте и то не польщусь.

Коновал покосился на Василису, выпил стаканчик и закашлялся. Василиса пихала ему уже в руки кусок булки.

– Закусите вот скорей булочкой. Трудно оно после вчерашняго-то проходит. Булочка чистая, давеча только к чаю брала, добавила она.

– Чистая! Поди уж опакостила. – Потому это ваше самое любезное дело, сказал коновал, но взял кусок булки, понюхал его и начал жевать.

– Огурца-бы вам соленьячко... Огурцом-то оно лучше, да я-то, дура, забыла.

– Известно дура. А то кто-же?

Василиса замолчала и продолжала убирать комнату. Коновал сидел на постели и смотрел как мелькали её голые, полные локти, как изгибался стан. От выпитого вина в голове его сделалось легче. «А ведь баба-то важнец! Вишь сдобья-то сколько!» подумалось ему и он ослабился. «И работающая какая! Так шаром и катается».

– Василиса, хочешь я в тебя эту змею впущу? – сказал он наконец, указывая на подоконник, прищурил глаз и улыбнулся.

Заметив улыбку, Василиса приободрилась. Это была первая улыбка в разговоре с ней, со дня его переселения на квартиру.

– Зачем-же, Данило Кузьмич, этакую нечесть в меня впускать? отвечала она. – Мы знаем, вы люди умные, все можете, только зачем-же?

– Знамо дело, все могу. Захочу, так и засушить могу. Вот как эта угриная шкура будешь.

– Я, Данило Кузьмич, к вам всей душой, а вы все этакое сулите... Вчера пришли хмельные, я вас поддержать хотела, а вы сейчас в грудь... Еще и посеичас больно...

– Так тебе и надо... Ништо, не суйся! – и коновал снова улыбнулся – Садись, что словно верстовой столб стоишь! – прибавил он.

Василиса так и зарделась от радости.

– Ничего, постоим, сказала она и села на стул.

– Ты вдова?

– Вот уж третий год вдовою. Муж был солдат, да на работах убило. Стену валили, стеной-то его и придавило. Не знаю, где и похоронен.

– Дети были?

– Нет, детей не было. Да и слава Богу, а то куда-бы я с ними теперь.

– Вишь локти-то как у тебя исцарапаны, заметил коновал. – Поди, все полюбовники обхватали?

– Нет, Данило Кузьмич. Что вы это?.. Видит Бог, нет... Я с полюбовниками не вожусь. Потому уж ежели сойтись с человеком, так не на один день, не на месяц. Я себя соблюдаю, отвечала Василиса, потупилась и начала теревить руками передник.

– Ну вот, толкуй тут! – сказал он, замолчал и начал её рассматривать. Она была баба белая, полная, румяная – то, что называется кровь с молоком. До сего времени коновал совсем не обращал на неё внимания, но теперь она ему понравилась. Кроме лица, ему нравились в ней и её безответность, тихий и кроткий характер. Он встал с постели, прошелся несколько раз по комнате, выпил еще стаканчик водки, подошел к Василисе, ткнул её под мышку и спросил:

– Щекотки боишься?

– Как-же нашей сестре не бояться? Ведь щекотно, – отве-

чала она, вся съежилась и захихикала.

– Ну, ну, сиди смирно. Вишь жиру то нагуляла, словно коломенская купчиха! – сказал он, хлопнув её по спине, и сел с ней рядом.

Она немного отодвинулась. Сердце у неё так и стучало, лицо горело.

– Что рыло-то воротишь? Аль не люб?

– Зачем воротить, мы всегда к вам с почтением, потому вы умные, – прошептала Василиса.

Коновал обнял её.

Весь этот день Василиса пробыла у коновала; два раза бегала за водкой, два раза ставила самовар и пила с ним чай.

Василиса переселилась к коновалу, но переселение это совершилось не вдруг. Сначала в его комнате на стене появилось её новое платье, на том основании, что у неё в комнате чугунок дымит, потом был поставлен сундук, так как он почему-то мешал гладить белье и наконец появилась кровать с подушками в ситцевых наволочках и в углу был повешен образ со стеклянной лампадкой. Положение её в отношении коновала, однако, нисколько не изменилось к лучшему, а даже ухудшилось. Проблески ласки проявились только на один день, и он по-прежнему стал обращаться с ней грубо и сурово и даже отымал у неё себе зарабатываемые ею деньги. Когда-же она не давала, то он и бивал её. Василиса втихомолку плакала.

Коновалу она, впрочем, очень нравилась, и он часто хва-

стался ею. За глаза он её звал «своей беззаконницей».

– Посмотри-ка: какова у меня беззаконница-то! просто кровь с молоком, – говаривал он комунибудь в трактире.

Прозвание «беззаконница», данное ей коновалом, так и осталось за ней навсегда. Весь околодок звал её этим именем, но только за глаза, в глаза же звал Василисой Тимофеевной и, по коновалу, оказывал даже некоторые почести. Одному только дивились все: как такая красивая, молодая баба связалась с таким плюгавым и ледащим мужиченком, как коновал.

– Ведь ни красы, ни радости в нем. Так – слюной перешибить. Просто мразь... говорили мужчины; женщины же решили, что он безприменно приворожил её каким-нибудь зельем.

Между тем как соседи переколачивали о Василисе и её сожителе, Василиса жила надеждами, что коновал изменится в обращении с ней к лучшему. К лучшему, однако, он не изменялся, а делался всё хуже и хуже. Она уже начинала каяться.

«Вот не было печали! Всё жила и горя не знала, так попутал бес связаться с человеком» – думала она часто, но бросить коновала всё еще не могла. Она любила его.

Коновал между тем делался всё драчливее и буйнее. Дело всегда происходило из-за денег и очень редко из ревности. Как только он напивался пьян, сейчас начинал подозревать её в утайке заработанных ею пятаков и гривенников и вымо-

гал их побоями. Сначала побои эти производились валеным сапогом, потом кулаками и наконец в дело была пущена даже лошадиная челюсть. Синяки уже не сходили с тела Василисы, так как коновал, по причине увеличивающейся практики и неизбежного с ней угощения, очень часто напивался пьян, а, следовательно, и бил её. Она уже не плакала больше втихомолку, а всякий раз после первого удара бежала на двор и ревела там среди собравшихся на её плач соседок.

– Батюшки, убил! Совсем убил! Утюгом горячим пустил! – кричала она обыкновенно.

– Дура! Да что ты с ним на муку себе маешься! Уйди! Ведь не перевенчаны... – говорили женщины.

– Уйду, безприменно сегодня – же уйду от него кровопийцы! Голубушки, ведь все думала, что остепенится да обзаконит!

– Да, обзаконит он тебя какнибудь пудовой гирей в темя... – вставлял свою речь какой-нибудь мастеровой.

– Ну, и обзаконит, а все бить будет, рассуждали женщины. – Тогда уж не убежишь – по этапу приведут.

– Да ведь то муж, голубушки, – шамкала, пригорюнясь, какая-то старуха.

– Чтож, баушка, мужнин-то кулак слаще, что ли? – отчеканивал мастеровой. – Что муж семь шкур спустит, что другой кто – сласть-то одна.

– Уйду, уйду! – вопила Василиса и точно уходила к кому-нибудь из соседок, но только для того, чтоб переждать гнев

своего сожителя и, спустя час, снова уже сидела в его комнате.

На коновала, впрочем, нападали и ласковые минуты. Минуты эти были, обыкновенно, на другой день после пьянства и учиненных им побоев, и заключались в том, что он приносил яблоко или пряник, взятые им в дань с какого-нибудь торговца в силу своей лекарской мудрости и всемогущества, и, подавая их Василисе, говорил:

– На вот гостинчика. Поешь.

– Не надо мне вашего гостинчика. Лучше-бы вы поменьше надо мной командывали.

– На-же, дура! Ешь, коли дают.

Василиса брала и ела, улыбаясь сквозь слезы.

Коновал ходил очень часто в трактир. Трактир был для него то-же, что для купца биржа. Отсюда его приглашали, обыкновенно, на практику. Здесь он узнавал о недугах лиц своего околodka. Однажды он пришел в трактир и заметил сидящего за чаем кучера купца Толстопятова. У Толстопятова были хорошие лошади, но коновала ни разу не призывали их лечить. Он уже давно точил на них зубы, потому что от богатого купца можно-бы было пожитья хорошо. Кучер был навеселе. Коновал подсел к нему. Слово за слово – разговорились. Оказалось, что кучер был недоволен хозяином, так как получал всего семь рублей в месяц жалованья и жил только потому, «что у купцов хлебно и езды мало».

– Да, жаден у вас хозяин. Вот и я копейки от него не ви-

дал, – сказал коновал. – Купца Толоконникова вон лечил от запою, подмешивал ему в вино мыло и лошадиную пену и хорошо поживился, а от вашего – синя пороха не видал. Что-ж, на овсе что-ли выгадываешь? – спросил он.

– Какое выгадываешь! Везде сам входит. Как слободен, так из конюшни не выживешь.

– А хочешь, я тебя научу нажать копейку?

– Зачем не хотеть? Научи.

Коновал наклонился к кучеру.

– Запусти жеребу-то шип под копыто. Пусть его маленько похромает, – сказал он, сдерживая голос. – А потом на меня и укажешь. Я вылечу, а деньги, что удастся содрать, пополам... Что-ж, в самом деле, он словно собака на сене. Нужно и от него пощетиться. Ходит, что ли?

– Это что! Это можно! – согласился кучер.

Результатом соглашения была потребованная с обеих сторон водка, вследствие чего коновал напился пьян и, придя домой, сильно избил свою беззаконницу и завалился спать.

Поутру, проспавшись, он отправился опохмеляться, а также узнать, запустил ли кучер жеребцу шип. Василиса осталась одна. Поглядев на себя в осколок зеркала, она увидела, что весь левый глаз был у неё в синяке. Поплакав ещё раз и решив бросить коновала, ежели побои повторятся, она принялась за работу и села у окна шить. Шила она не долго и вдруг услышала, что кто-то спрашивает в кухне Данилу Кузьмича.

– Дома нет! По лекарскому делу ушел, а может в трактире торчит, – отвечала хозяйка.

– А сожительница их дома? – допытывался голос.

– Та дома. Ступай вон туда.

В комнату вошел небольшого роста мужчина средних лет. Он был с бритым подбородком, в усах, в пальто, и в брюках, заправленных в сапоги. В руках он мял фуражку.

– Нам-бы Данилу Кузьмича. Мы насчет болезни, так как мы жестянщики и оловом себе ногу облили, – проговорил он тихо и робко.

Василиса прикрыла платком подбитый глаз.

– Он скоро придет, зайдите уже после обеда или подождите теперь, – сказала она.

– Лучше уж подождать. Конечно, хоть мы и не дальние, вот тут сейчас в улице, а все лучше... Пожалуйте это вам-с... кофейку... сказал он, вынув из кармана полуфунтовой тюрюк с кофеем и подавая Василисе.

– Зачем это? Не надо, – сказала она.

– Помилуйте, это ничего не стоит... Где-ж вам взять-то? Мы тоже о ваших страданиях наслышаны.

Василиса взяла кофей и попросила пришедшего сесть. Он сел, побарабанил себя пальцами по коленам и сказал:

– Буйны они очень, ну да это они от того, что все в забытьи, своим ведомством заняты и к тому же малодушество к этому самому вину питают.

– Вон как разукрасил, – сказала она.

– Ай-ай-ай! – процедил сквозь зубы жестянщик и прибавил: избави Господи, кто пьет. Кажется, хуже и болезни нет. Я по себе знаю, потому не приведи Бог как пил. И все из-за жены. Только не я её бил, а она меня. Верите ли, приведет в дом любовников и заставит их, чтоб они меня били. И оттого я и малодушествовал к этому самому вину до того, что раз жизни себя лишиться хотел. Вот оно питье-то до чего доводит! На всю жизнь отметка осталась. Жестянщик привскочил на стуле, подошел к Василисе и показал ей свое ухо, от которого осталась всего только четвертая часть.

– Отчего-ж это у вас? Зашибли? Спросила она.

– Никак нет-с, совсем в контру. Городовые оторвали, в чувство приводивши, – отвечал он.

Коновал всё не приходил. Жестянщик ждал его. Он оказался до нельзя разговорчивым и когда говорил, то у него даже брызгали слюни из рта. Через четверть часа Василиса узнала, что жена его была дочь извозчика, содержателя карет, но «только крепко набаловавшись с господами офицерами, так как те у них на постое стояли», что женили его обманом и подпоив; что теперь жена его хотя и жива, но уехала в другой город и живет с теми же «господами офицерами».

Также поведал он ей, что во время пьянства были ему всевозможные видения. То видел он сам себя висящим в петле удавившимся, то видел бесов, которые водили его по помойным ямам и отхожим местам и старались утопить, то вдруг икона запрещала ему, как «окаянному, смердячему грешни-

ку» молиться себе и раз даже плюнула на него.

– Не человек я был в те поры, а просто червь какой-то, гад ползучий, продолжал он. И решил я покончить с собой – удавиться, потому что уж коли иконы меня к себе не принимали, так чтож-я был после этого? Снял с себя крест и полез в сундук, чтоб взять полотенца и разрезать их, так как веревки у меня не было. Открыл я крышку и уж запустил руку, глядь на нутро-то... А на нутре-то у меня картина была прилеплена: генерал князь Кутузов едет на коне и саблей машет. Взглянул на него – ну просто живой. Глазами на меня моргает, саблей машет и шепчет: Ан не удавиться тебе, Кузя! Ан не удавиться!..

– Ах, страсти какая! – всплеснула руками Василиса.

– Позвольте-с, – перебил её жестянщик. – Не удавиться, говорит, Кузя. Саблей это машет, да как звизданет ей самой меня в темя! Тут я всех семи чувств лишился, упал замертво и очнулся в больнице. Полтора месяца вылежал и с тех пор пить бросил. Вот уж третий год не пью.

Жестянщик замолчал. Василиса покачивала головой.

– Как вас звать-то? спросила она.

– Кузьма Семеныч.

– Натерпелись же вы, Кузьма... Кузьма Семеныч.

– Истощал-с, утробы даже лишился. Все кишки и печенки из меня вышли. А вас как величать?

Василиса сказала.

Вскоре пришел коновал. Осмотрев ногу, он велел жестян-

щику приходиться каждый день, так как на ноге была рана и её нужно было примачивать сулемой и присыпать купоросом. К тому же это было и выгодно, потому что жестянщик, еще перед показыванием ноги отвалил за визит полтину. Василисе он очень понравился за его простоту и разговорчивость. По уходе его, она подумала: «вот кабы Данило-то Кузьмичь такой был. Рай красный с ним жизнь-то была-бы».

Жестянщик являлся почти каждый день. Коновалу он давал по полтине, а Василисе всегда что-нибудь съедобное: то фунт сахара, то булок, то ягод. Василиса привыкла к нему и, в тот день, когда он не приходил, даже скучала. Она любила слушать его разговоры о житье святых, о чудотворных иконах. Жестянщик был грамотный и много читал «божественных книжек».

Однажды, вечером Василиса сидела у открытого окна и плакала. Её опять побил коновал, и, побив, отправился в трактир. По улице шёл жестянщик. Завидя плачущую Василису, он остановился у окна, поклонился и спросил:

– Что, Василиса Тимофеевна, опять верно аспид-то вас тербил?

– Опять. Страсти Божия как! – отвечала она. – И из-за чего началось? Говорит, что я у него сальный огарок стянула.

– Ах, Господи! Что же с ним жизнь волочить. Надо же перепону сделать. Уходите это него, ведь вы не перевенчаны.

– Уйду, уйду, безпременно уйду! – твердила Василиса свою всегдашнюю фразу. – Обносила я вся с ним. Что ни

заработаю – всё отымет.

– А коли уходить будете, так перебирайтесь ко мне. У меня для вас завсегда почтение и угол найдется. Стряпать будете и ни копейки я с вас не возьму, а еще сам презентики делать буду. Что с ним, с извергом-то жить.

– Да уж и то правда. Благодарствуйте, Кузьма Семеныч. Верите ли, вся в синяках: как синяк сойдет, смотришь, уж другой наскочил.

– Жалости вы подобны... Верите-ли, сердце у меня надорвалось, на вас глядячи, – проговорил он, потупился, полез в задний карман пальто, вынул оттуда две винные ягоды, и подавая ей, сказал – покушайте-ка с приятством.

Василиса взяла, а жестянщик завидя приближающегося коновала, снял шапку и пошел своей дорогой.

По уходе жестянщика, Василиса окончательно решила уйти от коновала, о чём и объявила ему тотчас-же по его приходе.

– Ну, Данило Кузьмич, вот тебе мой сказ: как только ты меня теперь пальцем тронешь, сейчас я от тебя уйду, – сказала она ему: – потому что уж синяки мне надоели.

– Не бойсь, не уйдешь, – отвечал коновал, ухмыляясь.

– Нет, уйду! Как только побьешь – сейчас уйду.

Случай битья не заставил себя долго ждать. Не прошло и недели, как коновал пришел опять пьянее вина, и бросился было бить Василису, но та вырвалась от него, спряталась у соседа, и, выждав пока коновал повалился на свое ложе и за-

снул крепким непробудным сном – таким сном, что у него в это время, по уверению хозяйки, можно было горох на брюхе молотить, и то не услышит – она пришла в его комнату, вытащила оттуда все свои немногочисленные пожитки и на легковом извозчике переселилась к жестянщику. Когда коновал на утро, проснулся, его «беззаконницы» уже не было в доме, а о происшествии этом говорила чуть не вся Ямская.

Проснувшись, коновал не увидел ни платья Василисы, обыкновенно висящего на стене, ни сундука, ни образа, а от кровати остался один только деревянный, некрашенный остов. Коновал, как бы облитый водой, тотчас вскочил с постели и бросился в кухню к хозяйке.

– Где Василиса? – спросил он её.

– Уехала на другую квартиру, – отвечала хозяйка, дрожа всем телом. – Только, Данило Кузьмич, верьте, что я тут ни причём. Я даже ещё уговаривала её, дуру.

– Знаем мы, как ты уговаривала – то!

Коновал злобно сверкнул глазом, схватил картуз и бросился в трактир.

– Слышал про беззаконницу? – спросил он у стоявшего на углу городского.

– Слышал. Что ж, сам виноват. Зачем душу из неё вышибал? Тоже ведь человек.

– Да как из нея, из шельмы, не вышибать то было? Милый ты человек...

Коновал хлопнул себя по бёдрам и отправился своей до-

рогой. В трактире буфетчику был предложен тот же вопрос, что и городовому. Оказалось, что и буфетчик слышал.

– Плюньте вы на неё, Данило Кузьмичь, баба внимания не стоящая, – сказал он коновалу. Конечно, вы над ней тиранствовали, только, надо статья, за дело.

– Как-же не за дело, коли она меня, паскуда, каждый день обкрадывала. Где она теперь?

– Известно где: у жестянщика.

Коновала так и кольнуло в сердце.

– Нет, я её так не оставлю, я её испорчу, окаянную. Безпрерменно изведу, – проговорил он.

– Да и следует, – поддакнул буфетчик.

Выпив два стакана водки, он отправился домой.

Когда он шёл по улице, ему казалось, что все встречные над ним подсмеиваются. Всем и каждому он рассказывал о намерении своем напустить на Василису порчу. Пришедши домой, коновал сел на свое одинокое ложе и задумался. На его рябой и темной щеке блестела слеза. Он уже привык к Василисе, прожив с ней год. Он уже любил её. Весь этот день он не выходил из дома и ждал Василису. Ему все думалось, что она одумается и придёт. Но Василиса не приходила ни в этот день, ни в следующий.

– Нет, я её так не оставлю. Я на неё напущу порчу, – говорил он хозяйке. – Пусть её как щепка изсохнет, – и начал подкарауливать Василису у дома жестянщика, чтоб сообщить ей о своем намерении лично, запугать её и тем за-

ставить воротиться к нему обратно.

Случай скоро представился. Коновал стоял за углом дома. Василиса вышла из ворот. Она шла зачем-то в лавочку и держала в руках тарелку. Коновал вышел ей навстречу. Завидя его, она вздрогнула, побледнела и прислонилась к стене.

– Кузьма Данилыч, ради Бога... ради Бога... Ей-ей, караул закричу, – заговорила она.

– Не трону, дура, не трону... – сказал коновал. – Слышь. Василиса, переезжай обратно... Бить не буду и платье матерчатое куплю.

– Не надо мне вашего платья. Не могу я к вам переехать.

– Не переедешь?

– Не перееду.

– Ну так ладно же: я на тебя напущу порчу и изведу.

– Что ж, уж лучше от порчи погибнуть, чем от ваших кулаков, – отвечала Василиса и направилась в лавочку.

– Смотри, твой след вырезаю! Худо тебе будет! – крикнул коновал.

Она обернулась и увидела, что он вырезывал ножом землю, где был её след, и собирал себе в платок. Она перекрестилась. «Пусть будет, что будет», решила она и продолжала свой путь.

Прошла неделя. Коновал все ещё не терял надежды на возвращение Василисы, но она не являлась; тогда он решил прибегнуть к последнему средству: к «напусканию порчи» через заклинание. Заклинание это, для наведения стра-

ха, он обставил со всевозможною таинственностью, какую мог только, придумать, а для того, чтоб Василисе это всё передали, пригласил, как зрительниц, всех соседок.

Заклинание совершилось на огороде. Коновал был одет в тулуп, вывороченный шерстью кверху и свою голову покрыл чугуном, в котором он обыкновенно варил лекарство. Бормотав таинственные слова, он разложил на трех кирпичках небольшой костер, вынул из кармана платок с землей от вырезанного Василисина следа и половину земли высыпал в огонь, а другую, положил себе на ладонь и пропев «какуреку», сдунул по направлению к тому месту где жила Василиса. Совершив все это, он залил костер кринкою молока. Во время этого заклинания, стоящая поодаль женщины и ребятишки шептались, толкая друг друга под бока и крестились. Но нашлись и скептики. Так один мастеровой также смотрел на это представление, прыснул от смеха и бежал. Коновал пустил в него камнем. Заклинание совершилось. Женщины обо всем этом, разумеется, передали Василисе. Сначала она испугалась, поскучала несколько дней, но к коновалу всё-таки не возвращалась. Соседи даже начали замечать, что она не только не изводилась и не сохла, но даже, видимо, начала полнеть. Синяки, разставленные по всему её телу коновалом, сошли, румянец заиграл на щеках. Коновал видел это и злился, однако всем и каждому говорил:

– Ничего, погодите, издохнет!.. Придет время... Это от того заговор так долго не действует, что я у неё, у шельмы,

волос из её гривы не добыл.

Но Василиса не «издыхала» и цвела как маков цвет. Обстоятельство это жестоко повредило коновалу. Слава его начала меркнуть. Его перестали бояться. Прежнего уважения от соседей уже не было.

– Нет, братцы, это всё так... это всё зря... Какой он сведущий человек? Просто людей морочит. Уж ежели-бы он об этой порче понятие имел и в силе бы был, так неужто на Василису не напустил-бы?.. Будьте покойны! Человек злоущий, – христианской души ему жалеть нечего! А то наткось, вместо порчи-то баба – что твой шар стала, – говорили скептики.

– Волос, говорит, её не добыл; а то-бы, говорит, в три дня извелась, – возражали некоторые.

– Толкуй тут. Мало он у неё их натеребил! Просто бохвал!

К обстоятельству с Василисой присоединилось и другое: купеческий кучер, тот самый, который по наущению коновала запустил под копыто хозяйской лошади шип и в конце концов обсчитанный коновалом, однажды в пьяном виде проболтался об этом в трактире буфетчику. Буфетчик, которому коновал успел значительно уже надоесть своим учащённым взиманием дани утробой, в виде чаев, соляночек и стаканчиков, рассказал об этом посещающим трактир извозщикам. Извозчики, услыша это, возмутились.

– Что-ж, братцы, как-же это возможно! Ведь эдак он и к нашим лошадям забраться может! И нашим лошадям шипы

позапустит... – заговорили они.

– Какой он коновал! Нешто такие коновалы бывают? Просто мазурик! Настоящие коновалы скрипинские, а это так с бугорков, да с горок. Нет, надо за ним присматривать, – решили извозчики и, разумеется, разглашали о том, что слышали, другим.

Толки росли. Толки эти доходили и до самого коновала. Он явственно стал замечать, что некоторые из его знакомых, отвешивавшие ему прежде низкие поклоны, вдруг перестали кланяться, а некоторые так при встрече с ним, и как-то странно улыбались. Буфетчик в трактире перестав давать в долг и требовал деньги. Квартирная хозяйка, вместо прежних двух рублей за комнату, требовала четыре и, насчитывала на него шесть гривен за разбитыя три стекла. От прежней славы осталось только то, что, на улице, у окна, можно было ещё иногда встретить толпу ребятишек, рассматривающих помещавшиеся на подоконнике лошадиную челюсть, заячьи ноги, змею и прочую дрянь, но и ребятишки не питали уже больше того страха и не очень то быстро разбежались при появлении коновала. Однажды он поймал двоих и вырвал у них из головы по вихру волос, но и это не помогло. Практика падала и месяца через три дошло до того, что коновала совсем уже перестали приглашать лечить от каких либо недугов. Его это злило. С горя он начал пить, и наконец, решил, что ему по добру по здорову нужно переселиться в какое ни на есть «новое место», вследствие чего, в один

прекрасный день, жители Ямской увидели следующую сцену: по улице ехали роспуски. На роспусках лежали: сундук, кровать, самовар и узел, из которого выглядывали лошадиная челюсть и угол книги; сзади шел коновал в енотовой шубе и нёс в руках банку с змеёй и образ. Коновал переезжал в «новое место». Поравнявшись с городовым, стоявшим на углу он крикнул:

– Прощай, Пармен Иваныч! На новую фатеру переезжаю!

– Куда это? – спросил городской.

– Туда за Измайловский полк! Кума у меня там, так к себе зовет.

– Ну, прощай! Коли сердит на что, так не сердись. С тобой страшно. Пожалуй и на меня такую-же порчу напустишь, как и на Василису напустил, – уязвил его городской.

Коновал обернулся и показал ему кулак.

Из жизни забитого человека

I. От купеческого сына Михаила Григорьева Армякова, к другу его Пантелею Иванычу Мамзину, в Москву

Друг любезный Пантелей Иваныч!

Письмо твое я получил. Душевно радуюсь за тебя, что ты, наконец, на месте. Ты пишешь, что выговорил себе у хозяина право в свободное от занятий время читать книги, а также и уходить со двора без спросу. Это очень хорошо. Продолжая жить у моего тятеньки в прикащиках, никогда бы ты не дождался этого. Господи, дождусь ли я этой свободы! Как подумаешь о себе, так даже обидно делается. Третьего дня мне минуло двадцать четыре года, а я все еще у тятеньки на мальчишечном положении, и ежели хочешь сделать шаг из дома, то непременно должен спрашиваться. Даже никакой вещи не можешь себе приобрести по нраву. Поневоле приходится хитрить и обманывать. Живу я, Пантелеша, по-старому и учиться французскому языку продолжаю, но ещё с большею осторожностью от тятеньки, чем прежде. Вчера, в

то время как тятенька был в трактире, к нам в лавку пришел знакомый француз-обойщик и я читал ему по-французски, но он говорит, что ничего не понял. Верно без учителя нельзя. Теперь начал собирать себе библиотеку. На прошлой неделе купил себе сочинения Гоголя и похождения Ракамболя и прячу их у нас на голубятне. Там они будут многосохраннее, так как тятенька, по своей тучности, ни за что туда не влезет. Все скучаю, — дома брань да попреки; только и отвожу душу, что у Кати, но ты сам знаешь, что мне приходится у неё бывать еле раз в неделю, и то украдкой. Ах, как она меня любит, Пантелеша! Все говорят, что возлюбленные разоряют своих друзей, но здесь совсем напротив, и мне часто приходится навязывать ей деньги силой. Вижу, что нужно ей, а не берет. Иголкой по нынешним временам тоже немного наковыряешь. Всё хочу купить ей швейную машину, да где сразу возьмешь семдесят рублей? Ты сам знаешь, тружусь я для тятеньки как ломовая лошадь, а положения никакого не получаю. За платье и за сапоги, правда, он платит, а на карманные расходы даёт всего три раза в год по красенькой. Велики ли эти деньги! Только и живешь тем, что из лавочной выручки успеешь взять украдкой, а ведь по нашей торговле много взять нельзя. Прежде меня мучило это, и я считал себя вором, но теперь, обдумавши хорошенько, нахожу, что я беру своё собственное за труд. Люблю я Катю, друг Пантелеша; с восторгом вспоминаю, как она, бывши ещё в ученьи у мадамы, бегала к нам в лавку за покупками, но часто клян

себя за то, что наша любовь зашла так далеко. Какой сюжет из всего этого выйдет? Ведь и думать нечего, чтобы я мог на ней жениться при жизни тятеньки. Он ищет мне невесту с деньгами и ещё вчера за обедом сказал, что ежели за меня пятнадцать тысяч не взять, то не стоит меня и кормить, – словно я лошадь. На твое место у нас наняли нового прикащика. Нанимая его, тятенька сказал про себя, что на руку скор, а тот в ответ: «помилуйте, говорит, за всяким тычком не угонишься». Прощай, будь здоров и пиши почаще.

Твой друг Михаил Армяков.

II. От Иерея Игоря Силоамского к купцу Григорию Кузьмичу Армякову

Боголюбивый Григорий Кузьмич!

Вы неоднократно присылали ко мне вашего прикащика за получением с меня по счету ста пяти рублей за забранный попадьёю моей в вашей лавке товар, но я, к прискорбию моему, никоим образом не мог сделать уплаты по оному; так как в настоящее время претерпеваю крайнюю скудость в деньгах. Теперь время летнее, именитые прихожане разъехались по дачам, треб очень мало и кружечный сбор плох. Молю вас о великой услуге: потерпите до Успенского поста. В пост сей у нас бывает достаточно говельщиков, и я, пооперившись от оных, с любовью с вами рассчитаюсь. Вместе с сим письмом, пользуюсь случаем сообщить вам кое-что о вашем сыне Михаиле. Делаю сие во имя любви к вам и желания блага сыну вашему, который, по юности своей, крайне неопытен. Мне доподлинно известно, что молодой человек сей совращён некоею прелестницею, по имени Екатериною Кроликовой, и вот уже более полгода живет с ней в внебрачном сожитии. Все сие узнал я от некоей бедной и сирой вдовицы дворянского рода, обучающей моих малолетних дочерей игре на клавикордах. Сия вдовица нанимает от хозяйки горницу как раз рядом с вышереченной прелестницею, часто видит там сына вашего и в показаниях своих достоверна.

Ежели найдете нужным, то можете своевременно прервать эту преступную связь и открыть очи очарованному юноше. Всё сие я мог бы сообщить вам изустно, но настоящую неделю состою очередным по церкви и обязан быть ежеминутно на месте для нужд прихожан, а попадья моя, которая свидетельствует вам свое почтение, одержима зубною болью и не подымается с ложа.

Вечный молителъ о здравии вашем и всего семейства вашего

Иерей Игорь Силоамский.

III. От купеческого сына Михаила Армякова к другу его Пантелею Мамзину

Дружище Пантелеша!

Ты пишешь, что успешно учишься французскому языку у вашего бухгалтера. Душевно радуюсь твоим успехам и с болью в сердце спешу тебе сообщить, что моё ученье совсем не подвигается вперед и кажется его нужно бросить. До ученья ли тут, коли с тятенькой нет никакой сообразности. Он от кого-то узнал про мою любовь к Кате и разсвирепел подобно дикому тигру. Прежде всего, он отнял у меня ключ от выручки и отдал прикащику Василью Панфилову. О ругательных комплиментах я уж и ни говорю. Потом перерыл у меня все вещи в моем комодe, и найдя в нем Катин портрет, плюнул на него, разорвал и называл её самыми мерзкими словами. Каково мне было все это вытерпеть! Этим, однако, дело не кончилось: он обыскал меня самого и велел даже снять сапоги. Теперь всюду следит за мной. В субботу я ходил ко всенощной и он за мной следом. Об уходе со двора нечего и думать. В понедельник я просился в баню, и то не пустил. И кто это ему сообщил о Кате? С ней вижусь теперь ещё реже, и то только по ночам. Наши улягутся спать, а я через кухню, да и драло из дома. Кухарка подкуплена, а

молодцы, до поры до времени, молчат. Катя тебе кланяется. Она все нездорова и работать не может, и мне больше чем когда-либо приходится ей помогать деньгами. А где их взять в нынешнем моем положении? И смех и грех! Веришь ли, я стал даже подыматься на хитрости. В воскресенье просил, просил у маменьки денег, – не дает. А мне до зарезу было нужно. Тятеньки дома не было, я взял да и запел «со святыми упокой», потому знаю, что она смерть этого боится и считает за предзнаменование смерти. Она просит, чтоб я замолчал, а я не унимаюсь, и наконец сказал, «давайте двадцать пять целковых, а то целый день пропою». Что ж ты думаешь? ведь дала. Вот, друг любезный, до чего я дошел.

Твой друг Михаил Армяков.

IV. От купеческого сына Михаила Армякова к Пантелею Мамзину

Друг любезный, Пантелей Иваныч!

Сообщаю тебе и радость свою, и вместе с сим горе. На днях Катя сказала мне, что у неё будет ребенок, а вчера тятенька объявил, что он мне нашел невесту и что в воскресенье мы поедem на смотрины. «Довольно, говорит, тебе по разным Катькам шляться, да отцовскую выручку выгрeбать; ведь им, безпутницам, чужого добра не жаль. Им бы только опутать человека да грабить». Веришь ты, – при этих словах у меня даже в голове помутилось; но я смолчал. Целый день ходил я как сумасшедший, а вечером убежал из дома, напился пьян и часа два во всю прыть носился на лихаче по Александровскому парку и стегал кнутом прохожих. Это я злобу свою вымещал. Два раза гнались за мною городовые, но я успел скрыться. Дома, разумеется, была мне страшная гонка, ну да наплевать. Я уж обтерпелся. Теперь нахожусь в одурении и совсем потерял голову. Катя больна и работать совсем не может. Деньги нужны до зарезу, а пение: «со святыми упокой» не помогает. Третьяго дня терзал им маменьку часа два, но тщетно – денег у неё нет. Просил её, чтоб стянула у тятеньки из бумажника, когда он спит. Обещала, но ведь тут нужно ждать удобного случая. Он нынче стал хитёр и бумажника зря не кладет. Вчера я решился на последнюю

хитрость: объявил нашему прикащику Василию Панфилову, что буду смотреть на его хапунцы из выручки сквозь пальцы, ежели он будет со мной делиться. Сначала было он на дыбы и хотел жаловаться тятеньке, но потом смирился и дал десять целковых. Ах! чего, чего только не сделает человек, когда ежели ему круто приходится! Ночью был у Кати и просидел до заутрени. О смотринах не сказал ей ни слова.

Твой друг М. Армяков.

V. От Михаила Армякова к Пантелею Мамзину

Милый друг Пантелеша!

Спешу тебе поведать мои скорби. В воскресенье были смотрины. Невеста красивая и за ней двадцать тысяч чисто-ганом, и тятенька с радостью за неё ухватился. В тот же день по рукам ударили и Богу помолились. Меня не спросили даже, нравится ли она мне. Господи, что мне делать? Бедная Катя! Ежели обвенчаться с ней тайно, но ведь на это все-таки нужен паспорт и другие документы, а они у тятеньки. Как их взять от него? Ежели требовать их судом, то чем я буду жить после этого? Он прогонит меня, расскажет всем торговцам, что я его на левую ногу обделал, и меня никто не возьмет к себе в прикащики. Заняться другим делом? Но я ничему неучен и ничего не знаю. Чем я тогда буду содержать себя и Катю? Всю жизнь я жил за тятенькиной спиной и теперь весь в его руках. Правда, он говорит про меня маменьке: «мое дитище, – хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю». Друг любезный, подумай и отпиши, что мне делать? Ум хорош, а два лучше. Свадьба назначена через месяц, а я совсем как сумасшедший и в голове все перепутано. По ночам даже бред бывает и все страшные сны снятся. Вчера с горя послал мальчишку за полштофом водки и напился на ночь до безчувствия. Молодцы рассказывали, что я бушевал и хотел бежать

бить тятеньку железным аршином, но я ничего не помню.

Твой друг Михаил Армяков.

VI. От Михаила Армякова к Пантелею Мамзину

Друг Пантелей Иваныч! Заочно целую тебя несчетное число раз и крепко обнимаю. Ты единственный человек, кому я могу поверить свое горькое горе. Свадьба – через неделю, а я ещё ничего не придумал, что мне делать. Бедная Катя всё еще ничего не знает. Во вторник я уехал от невесты раньше и был у неё. Хотел ей сообщить о моем горе, но и язык не поворотился. Пока я сидел у неё, она сшила мне галстук в подарок и сама навязала его мне на шею. Теперь она меня не иначе называет, как будущий папаша, и при этом слове вся кровь приливает мне в голову. Ах, какое мое положение! Злому татарину не пожелаю моей участи. На другой день после свидания с нею я решился на последнее средство, чтобы разстроить свадьбу, и объявил моему будущему тестю, что у меня есть душенька и что у неё скоро будет ребенок; но и это не помогло. Он потрепал меня по плечу и сказал: «быль молодцу не укор и с нами то-же бывало. Пусть тятенька тряхнет мощной и тогда десятерым душенькам можно глотку заткнуть». Мерзавец! Он думает, что она Бог знает какая! Да безкорыстнее её человека на свете нет! На утро он рассказал о нашем разговоре тятеньке. Тятенька позвал меня в верхнюю лавку и долго ругал. «Говори, говорит, где живет твоя мамзюлька? Делать нечего, – пойду к ней торговаться». Но

как он ни приставал ко мне насчет её адреса, я все-таки не сказал. В сердцах он даже ударил меня по щеке и схватил за вихры. Говорят, что родителей следует любить и почитать, но как их почитать, когда они с своим детищем эдакие карамболи загибают? Ты пишешь, чтобы я просил заступиться за себя маменьку, но маменька у нас в доме ничего не значит и она составляет собою всё-равно, что кот в лавке. Думаю уж написать Кате письмо и объяснить ей моё положение. На словах я не могу этого сделать. Старший прикащик наш опять стал упираться насчет делёжки хапунца из выручки, и как я с ним ни бился, ничего не мог поделать. Вчера в отсутствии тятеньки я взял из лавки кусок атласу и заложил его ростовщику за шестьдесят рублей. Это уж воровство, но ведь надо же чем-нибудь содержать мою милочку Катю.

Прощай и пожалей твоего друга Михаила.

VII. От купеческого сына Михаила Армякова к Екатерине Кроликовой

Ангел небесный и друг сердечный Катюша! Радость моя неземная! Добрая моя крошечка! Решаюсь тебе сообщить о великом несчастий, постигшем меня. Словесно сделать это я был не в силах. Упадаю перед тобой на колени и целую твои белые ручки. Несчастье мое заключается в том, что тятенька собирается меня женить, и мне жениться необходимо. Чего, чего ни делал я, чтобы разстроить мою свадьбу, но ничего не помогло. Раз даже явился к невесте в самом пьяном виде и изругал её родственников, но и то сошло с рук. Пробовал говорить с тятенькой, но к нему и приступу нет. Начнешь говорить, а он сейчас: «Мишутка, береги свою вшивицу», да еще пустит в тебя, что под руку попадет. Я хотел обвенчаться с тобой тайно, но документы мои у тятеньки. Кроме того, чем-бы я мог содержать тогда тебя, моя милочка? Я должен-бы был скитаться тогда без места, подобно Каину, так как тятенька по злобе наверное обнес-бы меня вором или бездельником. Сегодня опять валялся у него в ногах, но он твердит одно: «прокляну». Больше я ничего не в силах сделать и завтра в четыре часа в церкви у Владимирской будет моя свадьба. Видно уж так Богу угодно! Умоляю тебя, помоги мне: приди в церковь и разстрой свадьбу. Я скандала не боюсь и даже обрадуюсь ему. Для тебя я все перенесу. Но хотя мне и

придется обвенчаться, – верь, что я все-таки буду принадлежать тебе, и твой один мизинец будет для меня дороже моей жены. Помогать тебе и твоему будущему ребенку я буду до последнего издыхания сил.

Твой на веки и до гроба любящий тебя Михаил Армяков.

VIII. От Екатерины Кроликовой к купеческому сыну Михаилу Армякову

Милостивый государь Михаил Григорьевич!

Поздравляю вас с законным браком и будьте счастливы с своей супругой, а меня оставьте в покое навсегда. Должна вам сказать, что вы очень низко полагаете, ежели думали, что я решусь на скандал в церкви. Да я и стыда этого на себя не возьму. Да и что за радость быть с вами знакомой, коли вы до того позволили собой помыкать, что вас обвенчали силой. Нынче и не с каждой девушкой это можно сделать, а не токма что с мужчиной. Помощи от вас не желаю. Как ни бедна я, но всегда могу прокормить себя и своего ребенка.

Известная вам Екатерина Кроликова.

IX. От купеческого сына Михаила Армякова к Пантелею Мамзину

Друг Мамзин

Все пропало, и я самый несчастный человек в мире. Я женат, и Катя, добрая моя Катя, оттолкнула меня от себя. Да я и стою этого. Я не человек, а баба. Все-то из меня вышибли, и я ни на что не годен! Вчера я отправился было к Кате, но она не пустила меня к себе. Как оплеванный вернулся я домой, напился пьян и избил свою жену. Она ни в чем не повинна, но веришь ли – я видеть её не могу. Господи, как-бы не случилось со мной какого греха!

Больше писать не в силах. Прощай и пожалей друга твоего Михаила.

Наше дачное прозябание

I. Лесной

Лесной. Час пятый дня. Приникла к земле пыль на Старо-Парголовской дороге, этом злачном и прохладном месте, где преимущественно прозябает купечество, умолкли докучливые голоса разносчиков, предлагавшие на разные тоны и «щетки половыя», и «рыбу живу», и «свежи яйца»; музыкальные горла баб-селедочниц, осипшие за день, сделали паузу и давно уже промываются чаем в трактире, что против часовни. Спят дачницы в дачах, спят цепные псы на дворах, около своих будок, прикорнули городовые в тенистых местах на скамейках и брёвнушках. Улица как бы вымерла, – и только кой-где попадаются зевающие няньки с ребятами на руках и в колясочках. Одурь какая-то царит в воздухе, апатия, лень. С Муринского проспекта доносится звонок вагона конно-железной дороги, подвозящего из города дачников, покончивших с своими занятиями и торопившихся к обеду. Вот на аллеях показались и они, эти труженики семей, голодные, измученные, обозлённые, навьюченные разными закупками в пакетах, тюрюках и кардонках. Один из них остановился около калитки палисадника красивой дачи с балконом, убранном полосатым тиком, и стучится.

– Марья Ивановна! жена! нянька! Мавра! Или кто там? Федор! Отворите! – кричит он.

Ответа никакого. Стук и оклик повторяются, но тщетно.

– Ах ты, Боже мой! И зачем только они запирают эту калитку? Марья Ивановна! Маша! Да, что вы, оглохли? Нет, видно спят... Машенька!.. Мавра! Нет, не достучаться... Разве через двор, в ворота?.. Впрочем, я сам приказал дворнику их запирать, и даже замок шведский купил. Пойду позвонюсь! Там дворник, и колокольчик прямо к нему проведен.

Дачник направляется к воротам и из всей силы дергает за звонок, но на дворе никого, даже и собака не лает.

– Вы, барин, насчет колокольчика-то оставьте, оборван он. Даве почтальон звонился, так оборвал, – замечает остановившийся около него мальчик из мелочной лавочки. – Так и не достучался, плюнул и ушел. А вы вот что, вы через забор полезайте. Я хлеб кухарке носил из лавки, так тоже таким манером.

Дачник в раздумье.

– Неловко, мой милый. Я сам хозяин. Ну, что за вид... точно вор. Ах ты, Господи! Вот наказание-то! Днем в свой собственный дом попасть не можешь! – восклицает он и снова подходит к калитке палисада.

– Марья Ивановна! Маша! Мавра! Да что вы, сдохли, что-ли? Создатель! И голосу даже не подают. Ну, что тут делать? Нужно, действительно, через забор... Только уж ежели

лезть, то тут около калитки. Делать нечего, попробую, – говорит дачник и заносит ногу, но планки палисада трещат под его тяжеловесным телом, тучность не позволяет перегнуться, заостренные жерди задевают за платье.

– Давайте, сударь, я вас пропихну, – предлагает мальчик. – Ежели и свалитесь, то там мягко: трава, кусты, песок.

– Нет, уж лучше вот что, милый: я тебе дам на чай гривенничек, а ты перелезь через забор, да и побуди их окаянных: «Дескать, хозяин из города приехал».

Мальчишка чешет затылок.

– Отчего бы, сударь, не перелезть, да там собака на блоке. Даве дворник как увидал, что я через забор махал, сейчас и спустил её. Пес злощий. Мы его второй год знаем. Мясник ходит, так только куском говядины и спасается.

– Ну, что ж мне теперь делать? – задает себе вопрос дачник.

– А вы вот что: вы возьмите камень, да и хватите в стекло – сейчас услышат. После вставить можно. Стекольщики тут недалеко в Кушелевке живут.

Дачник поднимает камень и хочет начать бомбардировку, но предварительно решается еще раз прибегнуть к крику и стуку.

– Маша! Марья Ивановна! Мавра! Черти полосатые! – снова раздается его голос, с акомпаниментом камня о калитку.

На балконе показывается рыхлая женщина в распашном

капоте, и, зевая во весь рот, смотрит по направлению к калитке, сделав из ладони над глазами зонтик.

– Кто это там? нищие? Мелких нет, Бог подаст, – тянет она. – Да, наконец, какое такое вы имеете право в чужие строения стучаться?

– Маша! Марья Ивановна! Опомнись, отвори скорее, это я! Вишь, до чего доспалась. Протри зеньки-то.

– Ах, это ты, Михайло Прохорыч! А я, тебя дожидаясь, села на балкон читать «Огненную женщину», да на диване-то мягко таково, так и вздремнула.

– Отворяй скорее. Смучился даже с этими поносками.

– А вот я сейчас Мавру пошлю. Мавра! Мавра! Ну, и из головы вон, что я её в аптеку послала разбойничьего укусу для комаров купить, а то они совсем спать не дают. Искусали всю... Батюшки, да ведь ключ-то у неё. Я ей сама отдала. Ты, Михайло Прохорыч, ступай к воротам, а я пошлю кухарку к дворнику, чтоб он тебе их отворил.

Хозяин, теряя терпение, подходит к воротам и ждёт. На дворе показалась кухарка. Она бежит, в дворницкую и дубасит кулаком в дверь. Выходит баба и разводит руками. Слышна, перебранка. Кухарка плюет.

– Да скоро ли же отворите то? – кричит хозяин.

– Чем отворить то? – откликается кухарка. – Дворник, мерзавец, ушел в кабак и ключ с собой унес. Когда он вернется, кто его ведает. Там у них теперь в кабаке всё равно, что благородное собрание устроено: по целым часам сидят,

да в орлянку играют. А вы вот что, сударь, вы пожалуйста с другой улицы, там у нас на задах самодельная калитка устроена; кучер да Мавра забор разобрали, так что две доски вынуть и пролезать могут. Пожалуйста!

Хозяин взбешён.

– Да прими ты от меня хоть поноски-то! Все руки оттянуло, – вопит он и перекидывает через забор покупки. – О, дьяволы, дьяволы! Указывай, куда идти, где у вас калитка. Да поворачивайся-же!

– А вот сейчас, только попрошу дворничиху, чтоб она собаку прибрала. Я то её кормлю, так она ко мне привыкла, а вас как бы не покусала.

Через четверть часа, хозяин входит в свой дом.

– Словно в крепости живете, – говорит он жене, целуясь с ней. – И от кого вы это только запираетесь?

– Как от кого? Мало-ли тут всякого народу днем шляется. Ночью-то нам не страшно с мужьями. Одни вон цыганские славяне из турецкого разорения одолели до смерти. У Коницыных вчера самовар утащили, как был с угольями и кипятком, так и утащили. Дворник поймал их, а они ругаются: «Ты, говорят, не рус, а собака, коли ежели этого самовара нам не отдашь, нам самовар на пушки нужен, чтоб против турок сражение иметь». Дворник устыдился и отпустил их. Обедать-то, Михайло Прохорыч, будешь?

– Еще-бы не обедать! Муж голоден, как собака, а она спрашивает! Вели подавать.

Подают на стол суп. Жена и муж садятся. Муж пьет водку.

– И что это здесь за водка, словно водой разбавлена, – говорит он. – Мне Чижиков вчера рассказывал, что у военных людей вышла новая мода эту самую водку торпедной начинкой настаивать, глицерином то есть. Такая, говорит, крепость, что страсть! Хорошо бы вот с антиллеристом как-ким-нибудь познакомиться, да попросить у него полфунтика глицерину-то.

– Ну, вот! Нужно очень у чужих людей побираться, коли можно этого самого глицерину, сколько хочешь, в аптеке достать. Ужо пошли Мавру. Да как посылать будешь, так скажи, пусть она мне какого ни на есть снадобья для сна купить, а то целый день спишь и белого свету не видишь. Оно-бы и ничего, да сны страшные. Как заведу глаза, так и вижу что будто бы я монитор, и под меня торпеду подводят. Опять же от сна и не ешь ничего. Вот глазами-то бы и съела чтонибудь, а утробой не могу.

– Оттого и не можешь, что, поди, зоб-то свой раза три уже сегодня разными разностями набила.

– Позавидовал уж! Ан вовсе и не набивала! Щец, действительно, за завтраком вчерашних похлебала, пирожка позоблила маленько, кашки манной, ну – а потом чай стали пить, так саечку с вареньем съела. Хорошие у нас такие сайки здесь на Муринском. Да вот сейчас на балконе, перед тем как заснуть, баранок вязочку сгрызла. Ах, как вы это попрекать любите! Небось, я вам ничего не говорю, когда у вас этот са-

мый аппетит от пьянства пропадает. Помнишь, когда, во время славянского сочувствия, вы этот самый народ в добровольно-принудительную провожали, так ты две недели ничего не ел и только одним пьянством питался.

– Так ведь то славянское сочувствие. Все свою повинность несли. Опять же с нами черногорец один путался, так должны же были мы его, как следует... Ведь, брат славянин.

– Ну, уж ты мне зубы-то не заговаривай насчет братьев! Приедет турок пленный, – ты и с ним будешь пить.

– С пленным турком из человеколюбия, потому завсегда нужно показать, что мы не варвары. Однако, довольно! От этих глупых прений у меня только аппетит пропадает.

– Ну, а потом-то зачем пили, когда эта самая добровольно-принудительная вернулась? – продолжает жена.

– Тоже из сочувствия. Слушали их зверские рассказы про турок, их подчивали, и сами чокались.

– Мы тоже-бы могли это самое винное сочувствие делать, однако, не делали. У нас вон и по сей час по Лесному болгарок пруд пруди. Ходят по дачам и насчет турецкого насилия, которое с ними было сопряжено, рассказывают. Тоже есть что послушать; а поговоришь с ними через запертую калитку, расспросишь, как дело было, молодые или старые эти турки, подашь копеечку, да и довольно. Тут даже иго турецкое по дачам носили, однако, мы не шли же на него смотреть, коли это к нам не прикасается. Просила я одну болгарку развернуть тряпку и сквозь забор его показать, та не хотела, ну,

и не надо.

– Вы, Марья Ивановна, в себе и замечания не содержите, что вы заврались. Кабы вы в вашем просвещении имели поболе образования, то взаместо того, чтобы читать Огненных Женщин, скорей-бы в газеты заглядывали и тогда знали бы, что иго это самое в тряпках носить нельзя, потому что его на четырех лошадях возят, так как оно из железа сделано, и в нем триста пудов.

– Ну вот! Фелицата Герасимовна ещё вчера себе за двугривенный кусок у болгарки купила. Говорят, оно от зубов помогает.

– В невежестве, конечно, всякая медицина в ход идет, но образованный человек должен только лекарствами лечиться. Да и надула твою Фелицату Герасимовну эта болгарка и вместо ига кусок какой-нибудь дряни продала.

– И вовсе даже не дрянь, а с благоуханием. Мавра видела: как бы смола, говорит, или сапожный вар.

– А я тебе говорю, что этого быть не может. По газетам, иго это теперь в Москве вместе с пленными турками находится, так как телеграмма пришла. Если бы не измена у турок, его бы и не отбили. Московское купечество не тебе чета, просило себе махонький кусочек от него отшибить, да и ему не дали. Казаки охраняют. Засим довольно и молчи! Киселя я не хочу и лягу спать, а к девяти часам поставь самовар. Где газета?

– Как-же, Михайло Прохорыч, ты обещался после обеда

в Беклешов сад гулять идти?

– А вот спервоначалу посплю, потом попою чайку, и тогда можно.

– Ну, уж, знаю я это гулянье! Разоспишься, так тебя тогда хоть поленом по брюху бей, ты и то не встанешь. А ещё хотел соловья слушать!

– И соловья, и кукушку послушаем. На всё будет время. А теперь дай мне газету. Нынче, кто хочет содержать себя в современности, даже обязан про всё известия знать. Сойдутся двое, и первый разговор – телеграммы. Давеча, вон, в трактире толковали, что взамен папы теперь римская курия сидит, и это будто у неё ребенок есть от папы, которого она на престол прочит.

– Очень тебе нужно знать! Для тебя что папа, что курия – один интерес.

– Совсем даже напротив того, так как через это шелк вздорять может. За сим извольте пришить ваш язык и молчать.

Супруг удаляется и ложится на диван. Слышен шелест газеты. Супруга, оставшись одна, начинает всхлипывать.

– Маша! Марья Иванова! поди сюда! – раздаётся через несколько времени голос супруга.

– Оставьте меня, пожалуйста, лежите там с вашей курией на диване, коли вы её на жену променять хотите.

– Ну, поди же, дура! Я тебе телеграммы почитаю. Вон во Франции правая сторона потерпела поражение от левой. Полно сердиться, не будь левой стороной.

– Плевать я хотела на вашу левую и правую сторону!

– Да брось! Расскажи-ка мне, что тебе болгарка про ту-рецкое насилие рассказывала...

– Ах, оставьте пожалуйста! Пусть лучите я слезами истеку, а уж властвовать над собой не позволю. Я не болгарка.

– Ну, иди, моя рыхленькая, иди, моя полненькая, иди миром. Не верблюда же мне за тобой посылать.

Жена улыбается сквозь слезы и направляется к мужу. Пауза.

– И соловья послушаем? – слышится её вопрос.

– И соловья. Соловьи только ведь, по ночам и поют.

– И кукушку?

– Не токма что кукушку, а даже дятла, если хочешь.

– В таком разе, помиримся.

Мир восстанавливается поцелуем.

II. Черная Речка

Утро. Десять часов. На Черной речке все обстоит благополучно. Мутные воды её издают запах, не имеющий ничего общего с одеколоном. Скрипят блоки парома, перевозящего чиновников с портфелями, купцов, спешащих пробраться, по тенистым дорожкам Строгонова сада до вагонов конно-железной дороги. На балконах дач виднеются остывшие самовары. Мужская половина дачников отправилась в город, остались только женщины. Вот известная всем подполковница Ия Патрикевна сидела, сидела, за кофейником, зевала, зевала во весь рот, и, наконец, встала, направившись в комнаты.

– Одры вы несчастные! Да встанете ли вы, наконец? – кричит она все еще спящим дочерям. – Вот наградил Бог дочками! «Наймите, говорят, маменька, нам дачу, так мы живо себе женихов найдем, потому на легком воздухе мужчины чувствительнее!» Ну, вот, теперь и ищут до двенадцатого часа, уткнув свои носы в подушки! Ах вы, клячи. Жаль, что Щапин обанкрутился, а то бы уж продала ему вас для дилижансов! Важная-бы тройка вышла из вас моих единоутробных. Да, что вы, оглохли, что ли?

– Где оглохнуть! Слышим, что маменькой запахло! – откликается сонный голос. – Вы лоб-то до ругани перекрестили ли? Ведь вам брань эта самая всё равно, что бутерброд к

чаю.

– Огрызайся, огрызайся! Чем бы с добрым утром поздравить, а она, на, поди! Нет, чтобы мать пожалеть, что она целый час для своих дочек за самоваром дежурит.

– Вы, я думаю, во время дежурства то этого, чашек семь в себя кофею влили! Нечего было дежурить! Мы и второй самовар поставим, да кофейных переварок напьемся.

В комнате слышно громыханье юбок, шлепанье туфель. Через десять минут три дочки выходят на балкон. Начинается опять перебранка.

– Выплыли! Слава тебе, Господи! Не выставляйте хоть рож-то ваших полосатых на улицу. Ворон вами пугать на огороде, а не женихов приманивать? Ну, садитесь затылками к тротуарам-то. Петр Иванович ещё не проходил. Лизавета, тебе говорят?

– Петр Иванович не за мной ухаживает, а за Леной, – откликается младшая дочь. – Вы ведь сами знаете, что ко мне конюшенный офицер равнодушен. Лена, надень в самом деле шинион, не хорошо: хоть и затылком сидишь, а все проплешина видна и, вместо косы крысиный хвост.

– Петр Иванович с благородными чувствами, и на мне, а не на шинионе женится. К тому же он близорук, и даже ещё третьяго дня, в Строгоновом саду одного дьякона за меня, по ошибке, принял. Через это самое даже история вышла, так что он боится в газету попасть.

Начинается разливание кофею.

– Что ж вы материнским-то великодушием хвастались? От кофеею одна гуща осталась.

– Да вы и этого-то не стоите! На живодёрню вас, так и там никто за вас гроша не даст. Лошадь, так у той хоть кожа, а у вас что? Ну, что Петр Иваныч?

– Да ничего. Вчера гуляли по саду. Вздыхал он, говорит, что ему холостая жизнь надоела. Погодите, будет мой. Нельзя же вдруг... А то упорно поведёшь атаку, он и испугается.

– Письмо любовное ему писала?

– Я вам говорю, что письмом все дело испортить сразу можно. Нужно исподволь. Помните, в четвертом году, флотского офицера: как получил письмо, сейчас впал в сомнение и исчез.

– Так что-же это ты с Петром Иванычем до второго часа ночи в Строгоновом саду делала?

– Гуляли, потом сели на скамейку; началась легкая перестрелка глазами. Ну, я взяла у него из рук палку, и будто невзначай, начертила на песке его и свой вензель под одной короной: «Е. и П.».

– Ну, а он что?

– Он тоже вынул из кармана перочинный ножик и стал вырезать на скамейке буквы, но вместо «Е», у него вышло какое-то «С».

– Морочит он тебя, дуру, а ты веришь, – вставляет слово средняя сестра. – Нарочно! Ведь, он за Серафимой Семеновной ухаживает, вот за этой брюнеткой, что всё на лыжах

по речке ездит, да только там ему карету подали.

– Пожалуйста, не обмишуртесь сами! Будто я не видала, что он букву «Е» выводил, а, по ошибке, «С» вышел. Вы на себя-то оглянитесь. Вы вот полагаете, что Геннадий Васильевич для вас мимо наших окон ходит, а он это для горничной Дашки делает, что у протопопа живет.

– Заспорили! – перебивает их мать. – Погодите, всех по порядку допрошу. Ну, Еленка, смотри! Ежели ты у меня нынешним летом за какого-нибудь лешего замуж не выскочишь, – собственноручно тебя отравлю. Возьму и подсыплю тебе буры в кофей.

– Вас же в Сибирь и сошлют, а я права останусь. Нельзя же, маменька, сразу, тят-ляп, да и клетка.

– А я, небось, сразу свои последние золотые часишки к жиду в залог снесла, да за дачу задаток отдала; сразу пенсионную книжку вам одрам на платья летние у ростовщика завязила? Ты мне зубы-то не заговаривай, а ты только, так или иначе, вызови Петра Иваныча на любовную переписку, добудешь от него цедулку с признанием, – значит, он наш: пожалуйста, мол, честью под венец, а нет, мы к мировому, потому невинную благородного звания девушку конфузить нельзя, кругом огласка... Ну, а ты, Лизавета, насколько с своим конюшенным подвинулась?

– Да он, маменька, какой-то неповоротливый. Я его в темную аллею завлекаю, а он говорит, что лягушек боится, – отвечает средняя дочь.

– Нечего сказать, хорош воин, который лягушек боится! – язвит старшая. – Офицеры на Дунае напротив мониторов идут, а он от лягушки бежит.

– Оставьте, пожалуйста! Конюшенные офицеры вовсе даже не для войны. Они лошадей артикулу обучают.

– Оставьте, пожалуйста, ваши споры! – снова обрывает мать. – Муж, который лягушек боится, ещё прочнее. Плохо дело, кто ничего не боится, того уж в руки не возьмешь. Ну, что-же дальше-то было? Ты его влекла в аллею темную, и он не пошёл. Потом-то что?

– Потом, купил мне на горке в ресторане палку шоколаду, а сам выпил две бутылки пива, потом сели мы на скамейку, и я начала вздыхать.

– А он что? Сделался ли он хоть с пива-то чувствительнее?

– Нет, маменька, его надо оставить и за другого приняться. Я уже наметила тут одного чиновника в белой соломенной шляпе. С пива офицер этот сделался действительно как будто чувствительнее, но сейчас заговорил о лошадином браке, да о лошадях.

– Ну, Лизка, уж ежели ты такого вахлака опутать не сумеешь, то так век тебе в девках и сидеть. Была выдрой, выдрой и останется! Да будь я на твоём месте, я не только-бы его, а и всех бракованных лошадей этих в две недели к рукам прибрала. Пиши ему сейчас любовное письмо, возьми у Нади листок розовой бумаги с голубком и пиши! Я сама диктовать буду.

– Я вам, говорю, что его любовными чувствами не проберешь. Тут что-нибудь другое надо. Он все о ботвинье с лососиной поминал. Вот, ежели-бы его обедать на ботвинью позвать...

– Из каких доходов, матушка? Лососина полтина фунт. Не ложки же мне серебряные закладывать. Да, наконец, чем он тогда хлебать будет? Ведь деревянную ему не подашь.

– Ах, маменька, где нужно решительность, там можно и шаль по боку. Кроме того, у нас шубки есть.

– Свой салоп я давно заложила, за вашу же молеедину никто и на лососину не даст.

– Уж не на нас ли, скажете, и шуба-то пошла? – дразнит младшая дочь. – Мы тоже знаем, что, заложив её, вы все деньги в два вечера в Благородке в мушку проиграли.

Подполковница всплескивает руками.

– Ах, идолка ты, идолка! Ещё туда-же, мать попрекать вздумала! – кричит она. – Кому я проиграла? кому? Разве не тому самому армянину, который с тобой танцуя, весь тебе хвост у платья сапожищами оборвал и всю талию руками захватал и изцарапал. Ведь думала, что прок выйдет. Сама же ты мне рассказывала, что он тебе в кадрили на ухо шептал, что он блондинок лучше любит чем брюнеток и что ежели женится, то непременно на благородной русской девушке. А бирюзовое кольцо, что он тебе подарил, так уж ничего и не значит?

– Так ведь вы его на другой же день у меня и отняли. Оно

в дело пошло. Мы им для Лизы телеграфиста обедами прикармливали. Насчет меня, маменька, вы не беспокойтесь. У меня всякие залого любви от одного кавалера есть: и письма любовные, и сувениры из волос, и даже медалион, а от кого – это секрет. Одно скажу: ожидайте на днях моего похищения, потому я объявила, что меня так, по благородству моего папаша и по смольному воспитанию, не выдадут. Я своему жениху такие туры подпустила, что он сомлел даже. Один день сказала, что за мной тридцать внутренних билетов в приданое, другой день – что деревня в Новгородской губернии.

– Ох, дай-то Господи! Твоими-бы устами да мед пить! – заключает мать.

В комнатах, между тем, слышен говор. Мужской говор перемешивается с женским.

– Марья, что там? – вопрошает подполковница.

– Сударыня, вас дворник спрашивает, – отвечает кухарка.

– Скажи ему, что меня нельзя сегодня видеть.

– Как-же это так нельзя видеть, коли я вижу, – басит дворник. – Хозяин за деньгами прислал. Пожалуйте, за дачу. За двенадцать рублей задатка два месяца жить нельзя! Ведь вас в апреле ещё к нам принесло. Снег подтаивать только начал.

– Ты, милый, во-первых, не груби! А, во-вторых, не лезь на балкон. Ты мужик, и твое место на подъезде. Деньги ты получишь завтра. А насчет грубостей твоих – с тобой генерал поговорит. К нам сегодня генерал обедать придет.

– Ты деньги отдай! Нам генералы-то не больно страшны. У нас и съёмщик на вашу дачу есть. Если сегодня честью не отдашь, завтра же к мировому, и с полицией тебя по шеям.

– Вон, мерзавец!

– Поругайся, поругайся ещё! А еще подполковница! Эх, а ещё господи! – говорит дворник и уходит.

Пауза.

– Ну, что вы на это скажете? – разводит мать руками – Выдры! клячи! идола! Ну, ведите меня самую на живодерню! Авось хоть за меня кто ни-на-есть что-нибудь даст.

Дочери плачут.

III. Новая Деревня

Утро. Десятый час. Новая Деревня. На всевозможные лады зазывают разносчики, выкрикивая названия товаров. Гудят басы угольщиков, стонут тенора рыбаков, поют контральты мальчишек-курытников, с огурцами и раками и покрываются звонкими дискантами баб-селёдошниц. В портерных уже пьют, не взирая на ранний ещё час; в бильярдных щёлкают шары. В одной из дач на Первой линии выходит на балкон дачник в халате, озирается кругом и видит лежащий на дорожке сапог со шпорой. Дачник недоумевает, спускается с балкона, пихает его ногой слегка и наконец, поднимает.

– Надя! Надежда Семеновна! – кричит он. – Откуда у нас взялся в саду этот сапог?

– Неужто в саду? Ах, мерзкая! Да это, видно, наша Балетка затащила, – отвечает из комнаты сидящая за самоваром жена. – Впрочем, ты сам виноват, Николай Анисимович. Начнешь раздеваться и разбрасываешь, куда ни попало, свои доспехи. Вчера искал свой чулок, ругался, ругался, а он преспокойным манером висит себе на лампе.

– Ты мне зубы-то не заговаривай, а отвечай, чей это сапог? – уже повышает тон муж.

– Как чей! Само собой, твой.

– Пожалуйста, не смейся. Ты очень хорошо знаешь, что чиновникам духовного ведомства сапогов со шпорами не по-

лагается, значит, этот сапог никак не может быть моим.

– Со шпорой? Не может быть!

– Извольте полюбопытствовать. Даже можете понюхать, ежели желаете.

Муж вносит в комнату сапог и ставит его на стол рядом с чашкою чаю. Жена выпучивает в недоумении глаза.

– Ей-Богу, не знаю, чей это сапог и откуда он взялся, – бормочет она. – Да, может, ты пошутить вздумал и прикрепил к нему шпору, делает она догадку.

– Мне, сударыня, шутить некогда. Мне впору только зарабатывать деньги и исполнять прихоти супруги, заводящей разные шуры-муры с господами военными. Я вас в последний раз спрашиваю: чей это сапог?

– Ах, Боже мой! Да не знает ли наша кухарка? К ней разные солдаты со всех сторон лезут. Настасья! поди сюда! Чей это сапог со шпорой у нас в саду барин нашел? Ну, отвечай! не запирайся, а то через тебя только неприятности. Мало-ли к тебе разных кумовьев ходит.

– Не знаю, сударыня. А что до кумовьев, то ко мне только дяденька пожарный и ходит, так они без шпор. И я вам вот что скажу – этот сапог офицерский.

– Извольте видеть, простая женщина и та вам нос утирает, – язвительно замечает муж жене. – Ну, пошла вон! – кричит он кухарке и всплескивает руками. – Ах, Боже мой! Боже мой! И после этого вы смеете роптать, зачем я вас перевёз в Новую Деревню на дачу, где вы иногда невзначай увидите

двух-трех девиц лёгкого поведения, курящих папиросы! Вы сами, сударыня, такая! О, теперь я очень хорошо понимаю, что значат все эти стуки к нам по ночам разной пьяной компании, которая спрашивает то Надьку, то какую-то Надежду Карловну! Сначала я думал, что к нам лезут по ошибке, но теперь мне всё ясно.

– Да как ты смеешь! – кричит она и сжимает кулаки.

– Довольно! не горячитесь, – останавливает её муж. – Прелестно! Дальше идти нельзя. Из надворной советницы в штабс-офицерских чинах Надежды Семеновны вдруг превратиться в Надежду Карловну и даже хуже – в какую-то Надьку!

– О, это уже из рук вон! Так я себя оскорблять не позволю! Ах, ты мерзавец! Так на же!.. – и сапог летит в надворного советника, но жена не довольствуется этим и хватает со стола полоскательную чашку с помоями, чтобы выплеснуть ему в лицо.

Муж выбегает на балкон; она за ним.

– Послушай, не выводи меня из терпения! иначе сам забуду, что передо мной женщина! – кричит он, в свою очередь, и вырывает из земли кол. – Только смей! только смей плеснуть!

– Ах ты бесстыдник! бесстыдник! Рук-то марать о тебя не стоит. Сам-то ты чёрен, как голенище вот этого сапога, что ты нашел, оттого ты черно и про других думаешь. Ведь с тобой вместе по Первой линии прогуляться вечером нельзя.

Бабёнки эти подлые так и лезут к тебе: то папироску заку-
рить, то спичку требуют. Срам! Вчера вдруг одна называет
тебя по имени и просит рубль на память.

– Важная вещь. Стоит придавать этому значение! Хмель-
ная женщина услышала, что ты меня называешь по имени, я
повторяет за тобой то же самое. Наконец, я не дошёл ещё до
той наглости, чтобы у меня мужчины свои сапоги со шпора-
ми оставляли! Тьфу! какая мерзость!

Жена взбешена.

– Ты опять! Ещё одно слово, и эта чашка вместе с помоя-
ми полетит тебе в голову! – вопит она.

– А ну-ко, попробуй! – подбоченивается муж.

– И попробую! только пикни, только произнеси ещё
оскорбление!

На крик у палисадника останавливаются проходящие.
Кто-то с бильярдным кием в руке заглядывает через забор
из соседней дачи, где помещается трактир, и кричит:

– Хорошенько её! Давни, как следовало, по-настоящему!
Только колом ни Боже мой! синяки оставишь! Возьми её в
подмикитки, да о землю! С бабой первое дело – вали её за-
тылком кверху, а то глаза выцарапает.

У палисадника тоже идут толки.

– Нет, кабы он её прижал к стене-то этим колом, тогда тут
её и взнуздывай как хочешь, – говорит мясник из соседской
лавки, преспокойно убрав руки под замаранный в крови пе-
редник. – А теперь шабаш! У нас вон рядом сапожник жи-

вет, так тот как хватит жену сразу колодкой, ну и усмирит, а нет, сейчас она ухватом вооружится, и тогда аминь.

– Позвольте, зачем же и колодкой? По-нынешнему, это даже лишнее, коли есть более мягкие предметы, например, хлыст, ремень, – вмешивается в разговор остановившийся гребенщик. – Супругу эти самые вещи никогда при себе не мешает иметь. Или, за неимением, стащи с ног сапог и лупи её голенищей.

– Послушайте, что здесь смотрят? что за происшествие? – спрашивает отправляющийся в город дачник, в соломенной шляпе и портфелем в руках.

– Да вот, господин жену учит.

– Кака жена! откуда? Так подстега. С воздаhtarшей живет.

– Нет-с, это подлинно жена ихняя, – поясняет булочник с корзиной за плечами. – Мы, ведь, тут всех знаем, потому булочники, и так как всё больше на книжку у нас забирают. Это господин Купоросов, чиновник он, а это их супруга настоящая.

– Знаю, знаю Купоросова. И сильно он её бил? – спрашивает соломенная шляпа. – Вот скотина-то!

– Где сильно! раз пяток заушил, да и все. Даже и крови не вышиб, – отвечает мясник.

– Ах, бедная! Ведь она молодая женщина, хорошенькая.

– Бедная! А она зачем Бога забыла? Без вины, сударь, муж стегать не станет.

– Какое без вины! – взвизгивает горничная в туго-накрах-

маленном ситцевом платье. – Муж на службу, а она в Строганов сад. С актером каким-то снюхалась. Три раза он её ловил и всё молчал, ну, а вчера, как привела она его к себе, ну, тут он и не стерпел.

Толки и пересуды идут всё сильнее и сильнее, и так как перебранка между мужем и женой продолжается на балконе, то некоторые любопытные зрители лезут уже в сад. Супруги замечают это, наконец, и начинают приходить, в себя.

– Ах, срам какой! Ну смотри на милость, что мы наделали! Мы зрелище вокруг себя собрали. Да уйди ты, скройся, уткни нос в подушку и плачь, плачь о своем позоре! – произносит муж. – Вы зачем лезете в чужой сад? Вам чего надо? – кричит он на вошедших в калитку посторонних зрителей и хватает какого-то официанта во фраке и белом жилете за шиворот.

– Ты, брат, не очень... Я, ведь, не жена. Я и сдачи дам, – замахивается тот на него.

– Вон отсюда! Или я сейчас пошлю за полицией, и вас свяжут, как воров!

– Смотри, самого чтоб не связали за драку. Ноне тоже рукам воли давать не велено, – ворчат зрители и удаляются из сада.

– Здравствуйте, Купоросов! Что у вас тут за происшествие? – окликает разъяренного мужа соломенная шляпа. – Представьте, мне вдруг рассказывают, что вы жену били.

Муж опешил и начинает запахивать халат.

– Нет, что вы! Как возможно! помилуйте.

– То-то. В наш век такая неистовства могут совершать только турки. Но зачем же у вас палка?

– А вот видите ли... Тут забежала к нам в сад собака, и как говорят, бешеная, ну, мы и вооружились: я колом, а жена чашкой с кипятком, чтобы её ошпарить.

– Да, уж и не говорите! Удивительно безпокойное здесь житье в Новой Деревне. То собака бешенная, то кто-нибудь ночью ворвется в ваш дом и спрашивает какую-то Марту или Берту. Шум, крик. Вчера, вон у меня соседа, статского советника, даже исколотили, конечно, по ошибке исколотили. Идет он по Первой линии, вдруг выскакивают лакеи из трактира, валят его с ног и начинают его тузить и приговаривать: «будешь вперед шары с бильярда воровать, мерзавец!» Увидав свою ошибку, они извинились; но что толку в извинении, когда они успели поставить ему синяк под глазом, и в довершение всего, ссадили нос, так что он и очки надеть не может.

– Да, это неприятная история... – пробует улыбнуться муж.

– И каждый день, каждый день какое-нибудь приключение, – продолжает соломенная шляпа. – Знал-бы, ни за-что-бы не переехал в Новую Деревню. Одно хорошо – вода близко, а я страстный охотник удить рыбу и раков. Даже и сегодня всю ночь под мостом у свай просидел и только к утру явился домой. Откровенно вам говорю: жену боишься одну

дома оставить, потому посторонние люди в дома врываются. Через две дачи от нас немец живет, конторщик он. Ушли это они третьего дня в Ливадию; возвращаются домой, смотрят, дверь отперта, кухарка пьяна и пляшет на дворе с кондукторами казачка под гармонию, а на их двухспальной постеле спит какой-то купец. Гонят его вон – пьян и не идет. «Я, говорит, к Берте Кондратьевне пришел». Однако прощайте! В город пора! Вы разве не едете в должность?

– Нет, поеду, да вот с бешенной то собакой... Прощайте, Герасим Николаич!

Соломенная шляпа кланяется и отходит. Муж опирается на кол, и, смотря ему вслед, произносит: «мерзавец!» Между тем, в палисадник заглядывает городской.

– Не слышали, господин, говорят, здесь какая-то драка была?.. спрашивает он.

Муж вспыхивает.

– Бешеные собаки здесь, по вашему недосмотру, точно что бегают, и вот сейчас одна сюда ворвалась, отчеканивает он. Чем-бы драки-то разыскивать...

– Сейчас мясник мне сказывал. «Чиновник, говорит, жену колом учит». Наше дело не допускать.

Муж плюет и направляется к балкону. Навстречу ему выскакивает жена.

– Пожалуйста сюда, пожалуйста! – восклицает она. – Вы делаете скандалы, собираете около дачи народ, оскорбляете беззащитную женщину, предавая её имя поруганию, и даже

мало того – вооружаетесь против неё, как против какого-нибудь монитора, шестом и хотите бить. Но что-же оказывается? Оказывается, что женщина эта невинна. Ах вы, дрянь, дрянь! Да после этого, если вы будете в ноги мне кланяться и на коленях ползать и тогда не вымолить вам прощения. Поди сюда, милая! Расскажи, что ты ищешь? – обращается она в дверях к чьей-то кухарке и вызывает её на балкон.

– Да вот видите, сударь, такая история вышла, что, можно сказать, даже смеху подобно... – начинает застенчиво кухарка и перебирает свой передник. – И не шла я, да барыня уж очень просит: «поди, говорит, Матрена и поищи, пораспроси потихоньку у прислуги по соседним дачам»... Не попал ли, сударь, к вам в сад как-нибудь офицерский сапог со шпорой?

Муж подбоченивается и иронически улыбается.

– Что это – стачка? преднамеренный уговор? попытка вывернуться? – спрашивает он. – Чьей же это сапог, моя милая?

– Барина нашего, офицера.

– Зачем – же это твой барин ходит по чужим садам и теряет свои сапоги?

– То есть, как вам сказать, сударь... – заминается кухарка. – Они мне не барин, наш барин статские, а это, извольте видеть, гость.

– И гостю нечего по чужим садам шляться и сапоги свои забывать...

– То есть даже и не гость, а извольте видеть, они барыню нашу утешают. Вышла барыня наша замуж, а муж больше на

счет рыбной ловли, ну, понятно, молодые они, и им скучно, потому ожидали совсем другого.

– Ты, милая, не путай, а говори толком.

– Я, сударь, вам, как перед истинным... Барин наш уехали на всю ночь раков ловить, а к барыне офицер приехали, утешать чтоб их. Хотели, наконец, домой ехать, а барыня их не пускают. Они артачатся, потому ревность... сами знаете, какое здесь место касательно женского пола. Куда не плюнь, везде баба. Опять же барыня и боятся. К нам вон и то на прошлой неделе чужого мужчину в дачу извошкики внесли. Мы-то впустили, потому полагали, что это наш барин собственный и из гостей пьяный, а вышло совсем напротив. И не догадались до утра бы, да проснулся он ночью и стал портю требовать, ну, тут мы и увидали, что чужой мужчина. Мы его гнать – нейдет. Послали за городовым...

– Однако, к делу, милая, к делу. Чей же это сапог?

– Да офицерский, барыниного утешителя. Барыня наша, чтобы их у себя задержать, взяли их сапог, вышли на балкон, да и перекинули через дачу. Вот он к вам в сад и попал. Ну, офицер и остался, потому как же об одном сапоге... Отдайте, сударь... Ну, куда вам? Ведь, в одном сапоге сами щеголять не будете, а офицеру этому самому сегодня из пушки палить надо, а перед начальством без сапога невозможно...

– Ты, милая, не врешь?

– Ей-Богу, сударь!

– Нет, ты побожись иначе. Взгляни на небо и скажи: «будь

я анафема проклятая, коли лгу».

– Ох, сударь! И всего-то они мне полтину серебра посулили.

– Ну, ну! И кроме того скажи мне, как фамилия твоего барина.

– Будь я анафема! – произносит кухарка. – А фамилия нашего барина птичья: Зябликов.

– Герасим Николаевич?

– Он самый.

– Знаю. Точно что он сегодня ночью, раков ловил, по кутру домой пришел. Он мне сейчас об этом сам рассказывал. Только ты врешь: как-же, заставши у себя дома офицера без сапога, он его не выгнал?

– Офицера мы успели на сеновал спрятать, там и держали его.

Жена плачет. Муж, потупя взоры, чешет затылок.

– Знаешь, я сам этот сапог отнесу твоему офицеру, – говорит он.

– Николай Анисимыч, оставь. Ну, как тебе не совестно конфузить бедную женщину? – вступается жена. – Ну, отдай этот сапог, отдай для меня.

– А простишь меня, сердиться не будешь?

– Не стоило бы, ну, да изволь.

Муж и жена заключают друг друга в объятия; торжествующая кухарка идет по саду, весело помахивая сапогом.

– Ага! Герасим Николаевич! – шепчет он, стиснув зубы. –

Теперь ежели вы будете рассказывать о моей драке с супругой, я вам сейчас рассказ об офицерском сапоге со шпорой преподнесу.

IV. Парголово

Вечер. Час девятый. Тихо в воздухе, но Парголовское шоссе пылит даже и при малейшем прикосновении юбок двух, трех дачниц, переходящих улицу. Какой-то немец в клетчатом пиджаке вышел с ведром и спринцовкой, и ради моциона, поливает ею дорогу, но производит ещё большую пыль, которая, забираясь в ноздри и рот, заставляет чихать и хрустит на зубах. За полисадниками виднеются головы дачников и дачниц в соломенных шляпах, зевающих во весь рот и не знающих за что приняться, ибо уже всё парголовское наслаждение ими исчерпано: зады отбиты не хуже телячьих котлет на седлах во время катанья на деревенских толстопущих лошадях, в желудке достаточное урчание от «цельного» молока, наполовину разбавленного водой, ноги обтрёпаны при восхождении на Парнас в лучшем виде и свербят от пыли, руки намозолены и ссажены вёслами от экскурсий на лодке по озеру. Жалит комар, стараясь укусить в чувствительное место; в воздухе носится мошкара, залезая в самые сокровенные части тела; налетает какая-то двуххвостка. Бродят слепые – нищие чухна́ с жожаками, выпрашивая подавание, бродят пьяные сотсткие с палками, выпрашивая на похмелье.

– Вы, сударь, наши, а мы ваши, и потому завсегда вас охранять должны быть способны, – говорят они, останавливаясь

перед полисадниками и передвигая шапки со лба на затылок. – Наше дело такое, что не выпьешь в день двух полштофов, и не справишься. Вот, только за купцов и благодарение Создателю! Николи мимо начальство не пропустит – сейчас поднесёт. Истинно говорю, ваше священство. Теперича к нам разный купец понаехал, потому ему здесь вольготно. Возьмите то в руководство: вода, опять-же и солдатского постоя нет, значит, за жену он спокоен. Ей-Богу.

– А сегодня много тебе подносили? – осведомляется дачник и в упор смотрит на красносизый нос начальства.

– Не... на свои пил, окромя разве то, что англичан даве полчашечки ромцу выслал, да купец Свинопасов стакашек поднес. Содержанка тут одна, француженка, полграфинчика с мухой предоставила. Муха у них в графин попала, ну, а нам ничего... Вот и всё. Ах, да: повивальная бабка из немок подчивала и три пяточка дала. «Как, говорит, где на даче заметишь даму на мою руку, заметь номер и беги ко мне». Вам, сударь, вашеблагоутробие не требуется ли? Третий год она тут у нас.

К калитке подходит дачница.

– А ты, начальство, чем-бы бабок то рекомендовать, лучше-бы за комарами смотрел. Смотри, сколько их. Жалят напропалую, – шутит она.

Сотский лукаво улыбается и снимает картуз.

– Помилуй, ваше бого... бого... вдохновение, – бормочет он. – Нам за комаром с палкой гоняться нельзя. Опять-же

комар от Бога и ему такое положение, чтобы он по вечерам жалил и даже во всю ночь. Комар у человека кровь полирует. Уж это положение такое: теперича утром и на солнце муха обязана кусать, в полдень овод летит и оса; на травку присядете, тут дело муравья вас жалить, в одежде блоха обязана вас жрать и другая нечисть. На даче без этого невозможно.

– Это без блохи-то?

– А хоть-бы и без блохи. К тому-же, ваше благоутробие, блоха заводится от женского сословия. Вот вошь, так та от заботы.

– Проходи, проходи! Заврался уж... – гонит его дачник.

– Зачем завраться? Вы почитайте-ка в книжке... Дозвольте, сударь, сигарочки, окурочка...

– Я тебе говорю – проваливай! Вот тебе гривенник...

Сотский, заплетая ногами, отходит, встречает какого-то мужика и кричит: «во фронт!».

В палисадник вбегает горничная.

– Ну, что, купила ты сахару? – обращается к ней барыня.

– Да не дает лавочник сахару, сударыня, отвечает горничная. Вы, говорит, у нас чай не покупаете, так нет вам и сахару. Нам, говорит, только от чая и барыш, а на сахар наплевать, потому пол-копейки на фунт пользы. Ваш барин и крахмал, и чай из города привозит, так пусть, – говорит он, – и голову сахару на себе волокет.

– Странно. Сходи в другую лавку.

– Здесь, сударыня, все лавки одного хозяина. Не дали в

одной, не дадут и в другой. Тут, в Парголове, ежели жить, то нужно все припасы в лавке забирать, а то они мстят. Поминал и о масле, зачем у чухонца брали. Говорил и о картофеле. «Мы, говорит, только молоко и творог с сметаной допускать можем, потому с этим товаром нам некогда возжаться».

– Петр Иваныч, как-же быть? У нас ни куска сахара. Не с чем чай пить, – обращается жена к мужу. – Делать нечего, надо хоть осьмушку чаю купить в этой лавке.

А на шоссе между тем поднялось целое облако пыли. Пронеслась кавалькада: двое мужчин и одна дама. Деревенские лошадёнки семят ногами и мчатся. Всадники сгорбились и держатся за гривы, брюки у них поднялись к коленам. У амазонки свалилась с головы шляпа и висит на затылке, придерживаемая шнурочком.

– Иван Гаврилыч! Василий Прокофьич! господа! тише, тише, Бога ради! Я туфлю потеряла, – кричит она, силясь остановить лошадь; но тщетно.

Стоящие за воротами мужики, хозяева дач, хохочут. Мальчишки бегут сзади и швыряют вслед камнями.

– На двор скорей, барыня, заворачивай, – на двор! – раздаются возгласы.

Вышли из палисадников дачники и тоже глядят. Идут толки.

– Ах, это опять она... Как её?.. Трясогускина. Муж у неё не то провизор, не то мозольный оператор, – говорит жирный лысый мужчина.

– Какое! Что вы! Он просто слесарь-водопроводчик, – поправляет его шепелявая дама с дыркой, величиною, с горошину, вместо рта. – Она с банкиром от Казанского моста всё путается. Мы её Матроской прозвали. Шляпа у неё такая была.

– А бойкая! Ведь она прошлый год уж сверзилась с лошади и вывихнула себе ногу, так нет, неймётся. Лоб разбила. Лошадь её в ворота понесла да о перекладину.

– Ну да, она самая и есть. Это какая то двух-жильная. Кроме того, в нынешнем году она тонула у нас на озере. Вытащили и насилу откачали. Помните, гимназист-то утонул?

– У нас, сударыня, без этого невозможно, потому препона. Сам, воденик безприменно семь потоплений требует, – вмешивается в разговор мужик. – У нас озеро строгое, даже и генералы тонули. Подполковница повзапрошлом году с монахом... потом купец с бриллиантовым перстнем. Тысячу рублей перстень-то!.. Скотский доктор один...

– Ну, довольно, довольно! Ступай прочь, – обрывает его дачник.

– Мы и пойдем... Это верно... А только дозвоьте, господин, папиросочки.

– На, соси!.. Смотрите, смотрите, Вера Степановна. Вон еще всадник. Ведь это от ихней же партии отстал.

На улице, действительно, был всадник. Лошадь прижала его к забору, терла о доски и не шла ни взад, ни вперед, не взирая ни на какихя понукания. Вид его был жалок. Он был

без шляпы, штаны разорваны. По пыльному лицу текли потоки пота, что давало ему вид зебры. Около него толпились мужики и мальчишки. Он еле переводил дух.

– Ты откуда, барин, лошадь-то взял? – приставали они к нему с вопросом.

– Ох, из Кабловки, измучила проклятая! Как дерево или забор, так сейчас к нему и прижмет. Всю гриву у анафемы вырвал... – отвечает он.

– А ты её по брюху ногами не щекоти. Наши лошади этого не любят.

– Куда ж мне ноги-то деть? Не отрубать же их.

– А ты растопырь! Поможем-ко ему, дядя Парамон. Барин хороший, даст на водку, – говорит мужик с рваной клинистой бородкой. – Берись за повод, а я сзади хворостиной...

Пробуют, но дело на лад нейдет. Лошадь не трогается с места.

– Вот варварка-то! Хоть каленым железом жги! Тяни её, тяни, а я особым манером...

Мужик упирается руками лошади в зад, но то же тщетно. Мальчишки бьют её ногами под брюхо.

– Как вы смеете лошадь бить, мерзавцы! – кричит на мальчишек подходящий дачник в коломенковой паре. – Вот, как нарву вам уши, да дам по хорошей затрещине... Со скотом нужно обращаться ласково. А ты, чертова образина? Не смей её трогать! а то сейчас в стан отправлю. Я член общества покровительства животным.

– Знаете что? – нельзя ли её хлебом поманить, – вмешивается в разговор какая-то девица. – Погодите, я сейчас вынесу кусочек.

Приносят хлеб. Мужик дает лошади сначала понюхать, потом отодвигает и манит. Лошадь трогается, хватает хлеб и снова останавливается, прижимая всадника к столбу.

– Ой, ой! Что это? – кричит он. – Да здесь гвоздь!

– А ты потерпи! Ну, чего орешь? Лошадь не коляска на пружинах. Давайте, барышня, еще хлеба.

– Постой, Парамон! Мы ей спервоначалу глаза завяжем и так попробуем.

– Только бить не смей! Слышишь? А то я так звиздану вот этой палкой по затылку!.. – кричит «член покровительства».

– Давайте, барин, платок.

Всадник ищет в карманах платка, но не находит.

– Потерял должно быть, на дороге, – говорит он. – Постойте, я вам сейчас дам вещь, чем можно связать. У меня бинты есть. Попросите барышню-то уйти, а то неловко.

– Уйдите, барышня.

Всадник снимает с живота бинт и отдает мужикам. Те завязывают лошади глаза.

Начинается гиканье. Лошадь тащат под уздцы, подпихивают сзади.

– Эх, конь-то! – восклицает проходящий мимо маляр с кистью. – Только в цирке и показывать! Двое ведут, четверо ноги переставляют и двое в зад пихают.

Кой как лошадь трогается.

– Ну, теперь с Богом, с Богом! Держи только ноги круче! – кричат мужики.

– Господа, кто из вас шляпу в лесу у заворота найдет и принесет в 132 номер – рубль дам, – заявляет всадник и натывается на двух рыболовов, идущих с озера с удочками и с ведрами.

– Олимпий Семеныч! Откуда вы в эдаком виде? – вскрикивают они.

– Да вот, сидели и вздумали покататься с невестой. Офицер один нас сманил. Они-то уехали, а я – вот! Лошадь упрямее Турции попалась. Вот, уже глаза ей завязали, так кой-как идет. Вы не видали Варвару Тарасьевну? Где она? Меня ужасно беспокоит. И хоть-бы офицер-то знакомый был, а то так только... на пароходе с ним два раза ездили, да раз в озере вместе купались.

– Позвольте, офицера с дамой видели сейчас в лесу. Нам Архотины сказывали. Сидят под кустом около лошадей и вишни едят.

– Петр Иваныч, вы меня пугаете. Я заметил даже, что офицер был пьян. Ах, Господи, Господи!.. – бормочет всадник.

– Ништо вам. И что за удовольствие отшибать себе сидение. Толи дело рыбная ловля? А мы сегодня чудесно! Трех окуней, шесть раков, карася... Шуку я поймал.

– Извините, Иван Иваныч, шуку я поймал! У вас она червя вместе с крючком сожрала, а на моей удочке подавилась.

– Да это тоже моя была удочка. Когда я закидывал её, вы купались и натирали вашу шкуру песком.

– Шкуру? Послушайте, вы удержитесь в выражениях!

– А вы щук чужих не присвоивайте! Какой вы рыболов!

Вы и рыбу-то удить ходите для того, чтоб в щели женских ванн глазеть. Вам не щуку изловить хочется, а купчиху Передраньеву. Для этого вы по семи раз и купаться бегаете.

– Это уж слишком!

– Слишком, да метко. Вы вот ходили с синяком под глазом и с ссадиной на носу, и всех уверяли, что это вам рак клешней ущемил, а на деле вам эти синяки со ссадиной муж Передраньевой учинил. Всем известно, как вас из их дачи ухватами, да кочергами гнали и бросали вам вслед кастрюльки и поленья. Муж и посейчас, как трофей, показывает ваши очки с разбитыми стеклами. А то щука!

– Да, щука! Вам вот эта щука нужна, вы и сплетничаете. Вы еще, не поймав её, хвастались принести её к повивальной бабке на ужин. Бегите, вас там ждут, и может быть опять в благодарность по щечкам потреплют. Помните судака-то? Помните, как она этим самым судаком вас хлестала по сусалам? Наши с балкона все сражение видели, видели как вас и картофелем потом бомбардировали. Вы лучше на балконе парусинную драпировку опускайте, когда вас в другой раз ласкать будут. Тащите вашу щуку. Пусть ваша повивальная бабка ей подавится!

– Мерзавец!

– Скотина!

Рыболовы подступают друг к другу и чуть не лезут друг на друга. Удочки их переплетаются, жерди задевают по лошади. Та, испугавшись, бросается со всех ног. Не ожидавший со стороны её этого маневра всадник летит на землю затылком. Его бегут поднимать мужики и дачники.

V. Коломяги

Время под вечер. Солнце садится и золотит верхушки деревьев. Дилижансы перевезли уже из города почти всех дачников, покончивших свои служебные обязанности; приехали даже аптекари и провизоры, вернулись доктора. Вон два кучера проваживают по улице четвёрку докторских шведок. Сами владельцы лошадей, доктора, оба Карлы Иванычи, оба латыши из окрестностей Ревеля, оба притворяющиеся немцами, успели уже сменить вицмундиры на коломенковые пиджаки и цилиндры на соломенные шляпы и выйти за ворота. Во рту у них пыhtят копеечные сигары. Их окружили соседи и спрашивают, не слышать ли чего о развитии эпидемии. Доктора, засунув руки в карманы брюк, сквозь зубы перечисляют болезни, на которые сегодня им удалось наткнуться, и, разумеется, врут. Один насчитал более двадцати визитов, а другой перемахнул даже за тридцать. Визиты, как водится, были не к простым смертным, а к Frau Generalinn, к графине, к княгине, к Herrn Oberst и только к одному купцу, но за то к «famosen Kerl, reich wie der Teufel» *{отличный парень, богатый как дьявол}*. Слова «дифтерит, бронхит, плеврит» так и сыплются с докторских языков. На улице заметны гуляющиеё. Каролины, Берты, Амалии, Мины в простеньких ситцевых платьицах, взявшись под руки, идут в ряд по дорожкам и весело болтают на испорченном немец-

ком языке, поминутно вставляя в речь русские слова. То и дело слышатся фразы: «пожалуй, wollen wir», «er wird uns нагоня'ен», «ich habe schon ein Topf простокваша mit сухари unserer молочница bestellt» и т. п. Вот за калитку вышел жирный Карл Богданыч, снял шляпу, обтер фуляром широкую лысину, вздохнул, понюхал воздух, и, ударив себя по брюху ладонью, проговорил «gemütlich». На балконе где-то кто-то наигрывал на тромбоне и протянул целую гамму. Карл Богданыч начал прислушиваться.

– Mein Liebchen, слышишь? Erinnerst du dich? припоминает? – крикнула ему из палисадника старушка в белом чепце и с седыми локонами.

Карл Богданыч обернулся, и, сияя улыбкой, закивал старушке головой.

– O ja! Тогда я служил на драгунский полк в Preussen и тоже играл эта труба. O, я был хороший музикус? Selbst jeztiger Nachfolger Prinz Karl, damals noch Jüngling... *{Даже его преемник, принц Карл, тогда еще юноша...}* Ах!

На глазах немца при этих почему-то чувствительных воспоминаниях показались слезы, и он полез в карман за платком. Где-то стройно запели «Was ist das deutsche Vaterland» *{Что такое немецкое отечество}*, и он окончательно заплакал, обернувшись лицом к палисаднику. Плакала и старушка с седыми локонами и вся превратилась в слух. Пению, подобно пушечным выстрелам, аккомпанировали глухие удары шаров в близлежащем кегельбане.

Долго-бы еще умилялась немецкая чета, если бы на соседнем дворе не раздались звуки гармонии и пение «барыньки». Кто-то, выбивая на деревянном помосте, перекинутом через канаву, мелкую дробь ногами, плясал, и, свистнув во вс` горло, крикнул:

– Загуляла ты, ежова голова!

Двое мужицких голосов ругались от восторга, поощряя плясуна эпитетами: «ах, подлец! ах, собачий сын, ах ты, анафема проклятая! Вот леший-то, сто колов ему в глотку»!

Немец упал, как-бы с неба, и плюнул. Немка потупилась и произнесла «Schwein!».

– Роза Христофоровна! я идит на кегельбан пить мой пиво! – говорит, наконец, немец, и, переваливаясь с ноги на ногу, направляется по дорожке.

В кегельбане толпа. Мужчины, сняв сюртуки, играют в кегли. Женщины сидят на скамейках и вяжут чулки или нескончаемые филейные скатерти. Пиво льется рекой. Пьют и мужчины, и женщины. Бутерброды принесены свои из дома. Глухо гудя, катятся по дубовой доске шары, с треском сшибают кегли и ударяются в доску. Бомбардировка идет отчаянная.

– Марья Ивановна, на ваше счастье! – кричит милостивой девушке белокурый молодой мужчина, вместо жилета в шитом гарусом поясе, какой обыкновенно носят наши священники, кричит и пускает шар.

– Фюнф с передней! – восклицает босоногий коломяж-

ский мальчишка в розовой ситцевой рубахе.

Немец торжественно подходит к девушке.

– Sehen Sie, Марья Ивановна, wie Sie glücklich sind. Как ни счастлив! – говорит он. – Ви пять с передней.

– Но я одна, Герман Карлыч, а не пять, – отвечает немочка и потупляет глазки. – Видите, одна...

– Нет, пять. Ви Мария, Каролина, Фридерика, Амалия – четыре... а я пять. Ви понял? Теперь до свиданья!

Немец отходит к шарам и издали пронизывает взором Марию Ивановну.

– Ах, Маша, какой ты рыба! – совсем судак, – шепчет девушке старушка-мать. Ну, сделай ему большая улыбка из зубы. Зачем так равнодушны?.. Фуй! Он на страховой компании служит, восемьдесят рубли на месяц, без жена и Abendbeschaeftigung {вечерняя работа} имеет на двадцать рубли.

– Но, маменька, он, может, и не думает жениться?

– Фуй! никакая мущина не думает, а надо взять его в рук. Возмил завтра и шейт ему на сувенир пантофель. Твой отца ничего не думал, а как взял у меня пантофель, сейчас и сделался твой отца. Ну, Марихен, noch eine grosse улыбка с большой рот!

Девушка улыбается, ослабляет лицо свое и кивает Герману Карлычу головой, подражая тем алебастровым зайцам, что продают у Гостиного двора на вербах.

Без пения ни на шаг. Составился и здесь хор. Рыжебородый тенор, задрав голову кверху, запекает соло: binnich in's

Wirthshaus eingetreten {я вошел в гостиницу}; а компания через некоторое время подхватывает хором: «Крамбамбули». Тут-же остановились извозчик и коломяжский мужик и прямо смотрят в рот поющим.

– Это они молятся, что ли, по-своему? – спрашивает извозчик мужика.

– Нет, так шутки шутят. Молитва у них безпременно, чтобы во фраках. У них вера-то строже нашей. Хочешь молиться, так сапоги новые надень; оттого у них так и вышло, что каждый немец сапожника в себе содержит, – поясняет мужик. – Опять-же и чай пить грех, а пей пиво.

– А для чего же они головы кверху задрали и на небесы смотрят?

– Это от натуги. Ты посуди сам: вот уже часа три воют, за неволю надорвешься. Ведь у них тоже душа.

– А не пар?

– Нет, душа. Душа у них хотя и не крупная, а все-таки есть. У них и попы есть. Искусные попы. Прошлый год у меня один немецкий поп на даче стоял, так курицу мне заговорил, чтоб она петухом не пела. Пар это у англичан. У тех точно души нет. И как только он с тобой говорить начнет, сейчас тебя обдаст этим паром. За то у них бабы крупные, поджарыя, но крепкия. Нашей бабе супротив ихней не устоять, нашу бабу пополам не перегнешь: ну, а аглицкую можно. Нагляделись уж мы на народ этот самый. У нас тут двенадесять язык живет.

– Ну, а немецкую бабу перегнешь?

– Ту и гнуть нельзя, сломишь. Жидка уж очень и суха, потому жрет мало. Ту взял под папоротки – вот её и сила. Поэтому-то господа купцы и любят их себе в мамзели брать. Сдачи не даст, только берегись, чтобы глаза не выцарапала. Но и на это снаровка есть. Хватай за косу и уж тогда будь покоен.

– А французинка?

– Французинка порыхлее будет и на таком разе как бы булка от пеклеванника отличается. Французинку всю, что ни есть в Питере, офицерство к рукам прибрало. Делает перекупку и купец, но у господ офицеров.

– А турецкие бабы есть у вас?

– Я тебе говорю, у нас, в Коломьягах, летней порой двенадцать язык проживает. Была и турецкая баба, да извелась. Муравьиный спирт пить начала.

– С чего же это она?

– А с тоски. Грек её к нам один завёз, а к армянину в семнадцатом номере пристрастие имела. И корм хороший ей был. Крупу жевала, толокно, лук давали, вдруг муравьиный спирт лакать начала. Самая лучшая баба – это чухонка. Из неё хоть лучину щепи. Пригляделись уж мы, знаем. Чухонку можно завсегда и на французинку переделать, и на немку, и на англичанку. Надел рыжий парик, обучил «жоли», «мерси», «бонжур» – вот-те и французинка. Прицепи ей хвост в аршин, надень розовые голоногие чулки, и завсегда за фран-

цузинку уйдет, ей-Богу! Уж сколько я знаю. Живут, живут у нас тут лето в чухонках, глядь, – на зиму в французинки перешла. Но лучше всего из ихней сестры немки выходят; здесь вот, что ты видишь, на половину немки из чухонок переделаны, потому пища та же самая: картофель да селедка. Ну, сверху пивцом польешь.

– А в арабку чухонку переделать можно? – допытывается извозчик.

– А то нет, что ли? Купил банку ваксы, вымазал её, да протер хорошенько щеткой сапожной – вот-те и арабка!

В это время с мужиком поравнялся жирный немец, тот самый, что умилялся при звуках тромбона. Он пыхтел и по-прежнему тёр свою лысину фуляром. Мужик снял шапку.

– Нагуляться изволили, Карла Богданыч? – приветствовал он его.

– О, да... Я выпил мой пиво и теперь делает мой моцион домой, – ответил немец и направился на дачу.

Старушка Роза Христофоровна крошила в кухне картофель и селёдку к ужину. Карл Богданыч нежно чмокнул её в шею и пошел к себе на верх разоблачаться, дабы надеть халат и ермолку и в таком виде предаться на верхнем балконе счастливому ничегонеделанию.

А на нижнем балконе в это время сидела юная Амалия, его единственная дочь, с бледно-серыми глазами, напоминающими петербургское небо в летнюю ночь. Рядом с ней помещался Фридрих, совсем желтоволосый конторщик из

страхового Общества. Они вздыхали и глядели друг на друга, глядели друг на друга и вздыхали, прислушиваясь к стуку дятла, к кукованию кукушки, к стуку ножа Розы Христофоровны, доносящемуся из кухни.

Фридрих первый прервал молчание.

– Сегодня мой принципаль сделал мне прибавку, и я буду получать сто рублей в месяц, – произнес он. – Это норма, мой идея.

– Поздравляю вас. Вы счастливы? – спросила Амалия и громко вздохнула.

– Нет, мой счастья неполный, как и я человек не полный. Я половинка, я ручка без топора, – ответил он и вздохнул еще громче.

– Но зачем же вы не ищите топора? – робко задает вопрос Амалия и потупляет глазки.

– Я искал и нашел, но не смел до сих пор взять эта топор. Я был шестьдесят рублей на месяц, а это не норма, не жизнь с топор. Теперь, когда я конторщик на сто рублей... о, я могу... это норма. Добрый хозяйка может хорошую жизнь сделать своему мужу на сто рублей. Квартира двадцать пять рубли, дров пять рубли, обед, фриштик – тридцать рубли, платье двадцать рубли, пять рубли шнапс, пиво, театр, клуб и пятнадцать рубли спрятать на Sparbüchse {в копилку}...

Следуют шесть вздохов. Три со стороны Фридриха и три со стороны Амалии. Амалия наклоняет голову, и, перебирая передник, смотрит себе в колени.

– Я Фелемон без Бауцис, я Абеляр без Элоиза, – я Фридрих без...

Юный, желтоволосый немец вынимает портсигар с вышивкой Амалии и целует вышивку. Амалия совсем наклоняет лицо своё в колени. Ряд вздохов.

– Вы, Фридрих, без экономии. Зачем тридцать рублей на стол? – тихо говорит она. – Надо дешевле жить. Квартира двадцать, обед двадцать. Керосиновая кухня. Суп, щи селедчиной головы с рыбьей шелухой, форшмак, картофель, две сосиски...

Еще вздохи, слышно кукованье.

– Вот кукушка кричит своя Амалия, а Фридрих не может кричат своя...

– Каролина? – тихо подсказывает девушка и уже сгибается в дугу.

– Нет. Зачем Каролина?

Опять вздохи. На дворе крики.

– Ах ты мерзавец! мерзавец! Пошел господину доктору лягушек ловить и опять пьян! – кричит дачная хозяйка на мужа. – Да как тебя, пса анафемского, шелудивого, земля носит? Где лягушки?

– Доктору отдал.

– А деньги где?

– Шину на колесе справил.

– Шину! Нешто в кабаке колеса чинют? Вот как хвачу коромыслом!

Идилия пропала.

– О, эта триклята русска мужик! – восклицает Фридрих и плюёт.

Опять молчание. До нового идилического настроения потребовалась дюжина вздохов.

– Фридрих любит шнапс и пиво, – начинает немец. – Фридрих пьет два шнапс на обед, одна на фриштик и два на ужин... Позволить ему его... Амалия?

– Зачем Амалия? – тихо спрашивает девушка, и бледное лицо её покрывается пятнами румянца.

– Затем, что... О, lieb, so lang du lieben kannst!.. *{О, дорогая, сколько можно любить!..}* – декламирует он и наклоняется к плечу Амалии.

Ещё мгновение, и бакенбарда его, похожая на паклю, щечечет лицо девушки. Слышны два порывистых дыхания. Вздохи прекратились.

– Позволит Элоиза свой Абеляр пять шнапс и два бутылка пива? – шепчет он. – Позволит Бауцис свой Фелемон ходить на кегельбан и клуб?

– О, да, да, – слышится ответ девушки.

Рука немца успела уже обхватить её стан и притягивает к себе.

– Амалия!

– Фридрих!

Мгновение и уста их сливаются в один долгий, долгий поцелуй.

На верхнем балконе раздаётся звонкое, как труба, сморкание. Карл и Амалия вздрагивают.

– Ах, это папа! – восклицает девушка.

– Все равно, *einerlei*. Komm! – говорит Фридрих, тащит её в сад и опускается вместе с ней на колени перед верхним балконом.

– Kinder! – всплескивает руками добродушный Карл Богданыч и выпускает поток слез.

– Vater! – откликаются снизу дуэтом два голоса.

Отец простирает над ними руки. Из дверей нижнего балкона выходит в кухонном переднике Роза Христофоровна и останавливается в недоумении.

Картина.

А на дереве ступит дятел, кукует кукушка. За углом кто-то ругается. По улице пронесся какой-то дачник на деревенской лошади. У калитки палисадника остановились мальчишки и смотрят на коленопреклоненных.

– Должно быть кольцо потеряли, – толкуют они. – Эх, господин, дали-бы нам гривенничек на пряники, мы бы сейчас отыскали, – слышатся предложения.

Карл Богданыч от полноты чувств совсем растерялся, уронил вниз платок и оттирает слезы ночным колпаком.

– Роза Христофоровна, где моя сапога, где моя сапога? – кричит он.

VI. Крестовский остров

Крестовский остров – это облагороженная Новая Деревня, воспроизведённая в малом масштабе. Коренному жителю Крестовского острова Новая Деревня уже не покажется адом. Для него она будет только чистилищем. Как в Новой Деревне на первой линии, так и здесь по линии дач, идущих от Русского трактира, ночи не существует. Движение совершается круглые сутки. Впрочем, заглянем.

Час ночи. О том, что теперь именно час ночи, вам, не ошибаясь, скажет и малый ребенок, ежели он коренной житель Крестовского. На это есть свои признаки: к этому времени кончается представление в театре Крестовского сада, и начинают разъезжаться французские актрисы.

– Ого, вон французинок в Самарканд кормить повезли, значит – уж первый час, – подтвердит вам и любой извозчик, ожидающий седока.

Здесь опытному дачнику и часов не надо заводить. Время узнаётся по признакам. Часы – это Крестовский сад. Заиграла музыка военная – ну, значит, семь часов вечера; заиграла музыка бальная – восемь. Пошел акробат по большому, туго натянутому канату – значит, девять часов, началась пальба при взятии турецкой крепости – десять и т. д.

Итак, первый час ночи. По набережной, около дач так и шмыгает народ. Пыхтят папиросы красными светящими

точками. От проходящих отдает винным запахом. В некоторых палисадниках мелькают уже распашные белые капоты милых полудевыц, вернувшихся с торжища из Крестовского сада. Правда, оне не просят портретик «Михаила Федоровича» на память, не возглашают: «милости прошу к нашему шалашу», останавливая прохожих, но ловко стреляют подведенными глазками и делают самую вызывающую улыбку. Калитка в садик всегда полуотворена. Изредка попросят они у проходящего мужчины огня, чтоб закурить папироску, и вы можете услышать при этом возглас: «холодного или горячего»? Как в Новой Деревне, так и здесь ругань стоит в воздухе. Извозчики задевают прохожих. Из Крестовского сада доносятся звуки оркестра; на дворах бренчит балалайка, играет гармония. Кто-то напевает пресловутую «Барыню», кто-то выбивает на деревянном помосте мелкую дробь восьмифунтовыми сапогами. Где-то пьяными голосами напевают «Vaterland», где-то гнут «Сторона ль моя, сторонка»; раздаётся из дачи сиповатый женский голосок, нараспев декламирующий: «я стираю, тру, да тру». Звонит колокол «конно-лошадиной» дороги, пароход дает свистки, тщетно ожидая пассажиров, предпочитающих «конку». Визг, писк. Партия стрекачей, сдернув с кого-то башмак, торжественно несёт его, вздев на палку. Городовой наострил глаза, взялся за шашку и хочет ринуться, «чуя нарушение общественной тишины и спокойствия», но, боясь превратить это нарушение в «оскорбление словом и действием», машет рукой

и остаётся на своем посту. Мелькают яхт-клубские фуражки дачников, возвращающихся из клуба. Вот идет один; поступь не твердая. Городовой, внимание коего было обращено «на нарушителей общественной»... и т. д., берёт под козырек, приняв яхт-клубиста, по ошибке, за офицера и сейчас-же плюет ему вслед.

– Что, ошибся? – вопрошает его дворник, сидящий за воротами.

– Мудрено ли в этой суматохе ошибиться. Вишь, черти полосатые, нацепили этого позументу! Сертук туда-же флотский. Анафема проклятая! Да тут сгоряча-то хоть борзой пес пробеги в ихней фуражке, так и тому честь отдашь, – отвечает городовой. Лешие окаянные, деревья стоеросовые! Чтoб им здохнуть! – ругается он вслед, хотя яхт-клубисты уже далеко, далеко.

– Отчего ты не исполняешь своих обязанностей? Отчего честь не отдаешь? – раздаётся над его ухом резкий голос, и перед ним стоит настоящий офицер с дамой под руку.

– Виноват, ваше благородие! – вытягивается в струнку городовой.

– То-то виноват!

Офицер и дама отходят. Городовой смотрит в след.

– Вот подкрался-то! – шепчет он и разводит руками. – Где тут углядеть! О Господи! Вот она, служба-то наша, Парамон Захарыч, – обращается он к дворнику.

– Кислота! – вздыхает дворник и чешет спину. – Да ты

посмотри, настоящий ли офицер-то?

– Настоящий.

– Да ты посмотри. Может так куражится. Мало-ли нони-че...

– Ну его! Подальше лучше. Ещё зазвизданет чего доброго. Запали-ко, Захарыч, трубочку, а я пососу. Оказия тоже здесь, беспокойство, – продолжает городской. – Веришь, ни одной ночи доспать не могу. То ли дело, как стоял я Выборгской части во Флюговом переулке. Завалишься бывало в траву и до утра. Ей-Богу. А здесь с девяти часов «караул» кричат. Даве пошел в портерную драку разнимать, вдруг, на линии крик. Бросил драку, бегу – дачник из сто семнадцатого кричит. Выбежал на балкон в одной рубашке и орет: бомбардировки испугался. Там в саду у Кусова Ардаган брали и пальбу начали. Подхожу к нему, дрожит... «Неужто, говорит, уж подошли они к нам?» А у самого глаза дикие, предикие. Кто, говорю, подошли-то? «Да англичане». Взятие Ардагана за англичан принял. Ну, успокоил его. Так, ведь не верит. «Поди, говорит, и посмотри, не видать ли на взморье английского монитора; на то ты, говорит, и поставлен тут, чтоб обывателей охранять». Полноте, говорю, ваше степенство, уж кабы ежели подошел он к нам, то приказы по полиции были-бы, сейчас флаги на колоннах белые выставили-бы. Домашние загоняют его в дачу, а он нейдет. «И мин, говорит, около нашего дома не взрывали?». – Нет, говорю, не взрывали. «А торпеды?» – И торпед говорю, нет. «А зачем,

говорит, на соседней даче миноносный шест выставили?». – Это, говорю, не шест, а скворечница? Ну, стал его срамить за беспокойное одеяние, потому снизу у него как есть ничего. Послушался. Заглянул под скамейки в саду; всё думает, нет ли кого и там, и ушел.

– Загнали значит? – спрашивает дворник и передаёт городовому трубку носогрейку.

– Загнали.

– Хорош тоже Аника воин! Пальбы комедианской испугался.

– И не говори! Вот-бы такого под турку пустить!

Городовой, кряхтя и охая, опускается на скамейку.

Вот пожилой дачник выходит в палисадник и начинает запира́ть замком калитку.

– Ох, – стонет он. – Ну, нечего сказать, выехал на дачку! И дёрнула меня нелегкая около этого сада нанять! Омут, чистый омут! Да здесь, от одного беспокойства сдохнешь за лето чахоткой. Говорят, вода здесь хороша, а купанье восстанавливает силы, да чёрт ли в ней, в воде-то, коли ты все ночи напролет не спишь. Какая от этого польза? Вот теперь для очищения совести запираемся на замок, а зачем, спрашивается? Кто захочет, тот и через забор махнет.

Не довольствуясь запором, дачник припирает калитку колом, наваливает на кол камень и уже хочет уходить, но перед ним останавливается мужчина в соломенной шляпе.

– Позвольте вас спросить: из ворот надо входить, чтобы

попасть в эту дачу? – таинственно спрашивает он.

– Ни из ворот, ни откуда нельзя незнакомым лицам входить-с, – сердито отвечает дачник, потому что здесь живут семейные люди, и вы жестоко ошибаетесь в вашем предположении...

– Знаю-с, но я знакомый, я свой, я не донесу. Ну, чего вы боитесь? Ведь в чётные числа происходят здесь сборища... Видите, мне всё известно. Вы меня, может быть, за переодетого полицейского считаете?

– Идите, сударь, своей дорогой! Срамились-бы... А ещё почтенный человек, волосы седые...

– Да полноте шутить, оставьте! Меня и Эльпидифор Экзакустодианыч Христопродати очень хорошо знают. Я на наличные... Я бы в Новую Деревню сунулся к табачнику Тройник, да там наверняка обчистят.

– Послушай, ежели ты не уйдешь, я за городовым пошлю! – горячится дачник.

– Ты не кричи, милый, а говори спокойно. Я очень хорошо знаю, что ты обязан остерегаться полиции, но я свой. Вот тебе целковый и проведи меня, покажи, где у вас играют. Мне ненадолго, мне только часик попонтировать. Вчера ещё в благородке полушубок вычистили...

– Тьфу, ты пропасть! – плюет дачник. – Да вы что ищите-то? Что вам надо?

– Игорный дом, – перевешиваясь через калитку и наклоняясь к его уху, шепчет незнакомец.

– Это не здесь-с, здесь нет игорных домов... Здесь благородное семейство.

– Тс! Что вы кричите!

– Здесь нет игорных домов, говорю вам, и я в своей даче всегда кричать могу! Здесь, сударь, проживает честное семейство надворного советника Трезубцова, только несчастным случаем попавшее в этот мерзкий омут, а посему извольте отправляться своей дорогой!

– Но послушайте, я и пароль ваш знаю, или, как он у вас называется, девиз, что ли?.. Книжник и актер. Теперь уже всё ясно. Пусти же. Я семпелями буду понтировать: ни угол, ни шесть куш мне не везут.

Дачник взбешён до невозможности.

– Послушай, не выводи меня из терпения! А то схвачу вот этот кол, и колом начну лупцевать тебя по шляпе. Ну!?

– Извините, когда так... – пожимает плечами соломенная шляпа.

– Чёрта ли мне из твоего извинения-то? Из него шубу не сошьёшь! Иди, иди с Богом! Ну, местечко, – всплескивает руками дачник и идёт к балкону.

– Что это ты так долго? – встречает его жена. Ведь ты знаешь, что тебе надо завтра в пять часов утра вставать и пить воды. К тому же и я должна в шесть часов быть уже в купальне.

– Какие тут, матушка, воды, коли что шаг сделаешь, то беспокойство! Вон сейчас какой-то скот лез к нам в сад, уве-

ряя, что здесь игорный дом. Да ведь как настойчиво лез-то!

– Послушай, Миша, как-же мы будем делать с окном? Ведь ещё вчера какой-то проходящий пьяный разбил стекло осколком бутылки. Сегодня я целый день ждала, не пройдет-ли стекольщик, но...

– Ложись скорей спать, родная. Что стекло? Ну, как-нибудь подушкой его заткнём. Пойдем.

Дачник берет под руку жену, но в это время с улицы летит ему в лицо брюхо вареного рака.

– Ой, что это такое? – взвизгивает он. – Послушайте, мерзавец! Разве это можно?

– Ах, пардон! Извините, пожалуйста! Я невзначай. Сделайте милость, не будьте в претензии, – доносится с улицы.

– Фу, мерзость какая! Жёванный рак. И прямо в лицо. Нужно будет умыться. Еще четверть часа от сна долой... Ну, иди, милая. В комнату, где выбито стекло, мы горничную спать положим.

Дачник скрывается в домишке, и предварительно запершись, начинает умываться. Слышен всплеск воды, фырканье. Стенные часы бьют час.

– Четыре часа только спать остается, – говорит он, гася свечку, и, залезая под одеяло, начинает дремать.

В саду слышен шорох и говор: «не здесь». – Здесь, я тебе говорю, стучи; я очень хорошо знаю. «Как клюшницу-то звать?» – Каролина Карловна. Сеня, ты ведь по-немецки ма-ракуешь, так стучись ты.

Раздается стук в окно. Дачник вздрагивает и кричит:

– Кто там?

– Это мы. Нам нужно видеть Берту. Не черненькую Берту, а белокурую! Каролина Карловна, bittte! Um Gottes Willen! Wir sind nur drei! Нас только трое! – раздается голос.

– Никакой здесь Берты нет! Ни черной, ни красной, ни зеленой! Вы не туда попали!

– Послушай, человек! Пусти! мы тебе дадим на чай! Ну, отвори. Мы только портеру выпьем.

Дачник вскакивает с постели.

– О, это чистое наказание! – скрежешет он зубами. – Послушайте, мерзавцы вы эдакие: ежели вы сейчас не отойдете, я стрелять буду. У меня револьвер о шести зарядах. Вон!

– Миша, Миша! Успокойся! Ведь тебе вредно тревожиться, – удерживает его жена. – Ах, Боже мой! Да никак ты босиком? Разве это можно? Сейчас насморк получишь.

– О матушка, не до насморка мне! Тут белая горячка с человеком сделаться может!

Говор в саду мало-помалу утихает. Слышны удаляющиеся шаги. Дачник лезет снова под одеяло и начинает засыпать. Часы бьют два. Тихо. В соседней комнате сопит и бредит горничная. Проходит полчаса. Вдруг сильный удар в ставни потрясает ветхия стены дома.

– Эй, Машка, отвори скорей! Первая гильдия приехала! – раздается за окном бас. – И чего вы черти полосатые, спозаранку запираетесь? Туда же и калитку приперли! Зна-

ешь, что наше степенство через забор лазать не любит, а ты приневоливаешь! Ну! разнесу!

Второй удар. С потолка сыплется штукатурка, песок. Дачник опять вскакивает.

– Нет здесь Машки! – орет он. – Вон, дьяволы! Вон анафемы проклятые!

– Слышь, ты не горячись! Может она у вас за Амалию нынче ходит, так нам все едино – идет переключка. – Отворяй миром! В накладе не будешь! Мы не турки! Расплачиваемся наличными! Купцы приехали, а не голь стрюцкая! Отворачивай, Митряй, ставню-то!

Ставни потрясаются. Скрипят петли. Дачник прибегает к ласке.

– Послушайте, почтенные! – вопит он. – Вы попали в семейный дом! Не доводите до скандала! Ну, что за радость, ежели я пошлю за полицией и составят протокол. Посадят; ей-ей, посадят.

Просьба действует. Бомбардировка умолкает. Слышна перебранка и возглас: «вот как хвачу по затылку!»

– Семейный человек, откликнитесь еще раз, – раздается уже сдержанный голос. – Где здесь эта самая Марья Богдановна проживает? Укажи, будь любезен, я те фуляровый платок на память пожертвую!

– Не знаю я, милые мои, не знаю. Я не здешний, я вчера только приехал. Идите с Богом!

– Ну, прощенья просим; спи спокойно! А что мы ставень

оборвали, то приходи ко мне в железную лавку, – пуда гвоздей не пожалею. Да ну ее, эту Машку! Идем, ребята, в Немецкий клуб.

Дачник уже не стонет, а только скрежещет зубами от ярости и лезет на кровать. Его бьет лихорадка, голова горит, руки и ноги трясутся.

– Спи, Миша, скорей, сейчас три часа. В пять вставать. Торопись, голубчик.

– О, матушка, матушка! Какой тут сон! Я совсем болен! – вырывается у него из груди вопль.

В смежной комнате раздаётся пронзительный крик горничной. Дачник снова как горохом скатывается с постели и выбегает из спальни.

– Лезут, лезут! – кричит горничная, и, кутаясь в одеяло, жметя к стене.

В разбитое стекло видна стриженная голова татарина во фраке и с номером в петлице.

– С ресторан, господин, с татарска ресторан письмо. Ласкова барыня, Марта Карловна; за ней офицер коляска прислал! – отчеканивает гортанным голосом лакей.

– Катерина! Тащи сюда ухват, кочергу, метлу! Я голову разmozжу этому свиному уху! – орёт во все горло дачник, хватая палку, замахивается и бьёт второе стекло в окне.

Звон. Татарин бежит. Дачник хватая со стола графин и кидает ему в след.

– Боже мой, Боже мой! И это дача, куда ездят успокоить-

ся! – раздаются вопли мужа и жены.

VII. Волынкина Деревня

За Екатерингофом, на взморье, лежит Волынкина Деревня. О существовании этого дачного места знают очень немногие петербуржцы. Фланеры, утрамбовывающие дорожки увеселительных садов, топчущиеся на танцевальных вечерах летних помещений клубов, Лесного театра и Безбородкинского вокзала, сюда вовсе не заглядывают; ибо здесь нет даже и простого сада, не говоря уже об увеселительном, а танцы, ежели и происходят подчас, то только у кабака, под звуки гармонии и балалайки. Из дирижёров оркестра ни один Шульц не покусился ещё устроить здесь музыкально-танцевального вечера и заставить платить себе полтинники, ни один, даже самый неразборчивый актёр, не побрезговавший бы даже собачьей будкой для устройства спектаклей, не решился ещё покормить здешних дачников какими-нибудь «Париками», «Фофочкой» или «Мотей». А актёров среди дачников здесь изобилие, и разнообразными талантами их Бог не избидел. Есть певцы, обладающие таким зычным голосом, что ежели крикнут на берегу взморья, то их будет слышно в Кронштадте. На сцене их, по некоторым причинам, избегают.

– Я, братец, раз так крикнул в «Пророке», что семь ламп по рампе погасло и в царской ложе на стенниках розетки лопнули, – рассказывал мне один оперный певец. – Одного

вот пьянисимо нет у меня в голосе.

– Зато, в голове часто бывает пьянисимо, – заметил ему один купец, театральный прихвостень, обязанность которого состояла поить певца, давать ему деньги взаймы и позволять себя обыгрывать на биллиарде.

Певец нахмурил чело и сжал кулаки.

– Ты, Митрофан, не шути, коли я говорю серьезно! – отвечал он. – Знаешь, что я этого не люблю. Я у тебя в железных лавках в заклёпках не роюсь, не ройся и ты в моей лавочке.

Есть здесь и трагики, последние из могикан, трагики, которых когда-то в провинции на руках носили их почитатели, поили до белой горячки. В былое время они верили, что не пьющий трагик не мыслим. Они вели суровый образ жизни, никогда не улыбались, были мрачны, смеялись только «замогильным» хохотом, ели сырое мясо, и с полуштофом в руках ходили учить свои роли на могилы самоубийц, а где таковых нет, то просто на городские кладбища. Блистав когда-то в провинции, а ныне заручившись третьестепенными местами в казённой труппе, они не утратили еще своего молодчества. Есть и казенные актеры от «ногтей юности», выпущенные из театрального училища, как значится в их аттестатах, на роли злодеев и драбантов. Как трагики, так и драбанты отличаются необыкновенным молодчеством. Они, не задумываясь, подымут быка, взяв его руками под пах, свернут вензель из кочерги, перекрестятся двухпудовой гирей и вывернут с корнем фонарный столб. Есть здесь и балет-

ные танцоры, возненавидевшие танцы, танцоры, удалённые из балета вследствие того, что они утратили элевацию, потеряли «стальной носок», и приобретя чугунную пятку, успели отдавить двум трем балеринам ноги. Есть здесь купцы, хороводящиеся с актерами и идущие по пути к разорению, купцы, которым остался один шаг – связаться с монахами, и после сего, уже в конце обнищавшими ехать на Валаам на покаяние. Есть здесь нотариусы, отставные ярморочные шулера, утратившие гибкость пальцев, музыканты, игравшие когда-то на тромбонах и контрабасах, заводчики, успевшие уже нажить себе состояние, и даже поп, охотник до рыбной ловли. Все это переселяется на лето в Волынкину Деревню, ради охоты, во всех её видах, начиная с домашней утки и кончая медведем. Дачники поголовно охотники. Поселение Волынкиной Деревни необширно: несколько домиков, кабак и кое-что вроде трактира с мелочной лавкой. Патриархальность нравов необычайная, доходящая до дикости. Дачники живут на бивуаках. Об украшении палисадников нет и помину. Вместо цветов, в куртинах расставлены собачьи чашки с овсянкой и водой, в которой плавает кусок серы, банки с червями для ужения рыбы, корзинки с пахучим стервом для ловли раков. Вместо штор окна занавешены штанами, женскими юбками. Убранство комнат состоит из удочек, неводов, арапника, собачьих цепей и смычек. На подоконниках – бутылки, банки с сапожной мазью, охотничьи фляжки, пузрыки со средствами от комаров и блох, которыми они вме-

сто духов смазывают и себя, и своих многочисленных собак. Посмотрим на их жизнь-бытьё. Заглянем в их праздничный день.

Вот утро. В одном из палисадников бродит дачник и налаживает перепелины дудки, подбирая тоны. Он без шляпы и в одном нижнем белье. В соседнем палисаднике молодая дама вывешивает для просушки простыню, стараясь прикрепить её на подсолнухи.

– Марье Ивановне почтение! Слышали, как мы вчера торпеду взрывали на взморье? – кричит он. – Три старых свай нужно было выворотить. Здравствуйте.

Дачник подходит к границе своих владений и протягивает руку через рубеж. Марья Ивановна делает то же самое, но тотчас же вскрикивает и отворачивается.

– Что с вами? – удивляется дачник. – Наткнулись на рождён, что ли?

– Нет, так... я не одета, – бормочет она, косясь на костюм соседа.

– Да и я не одет. Помилуйте, что за церемония на даче! Здесь у нас попросту. Я и сам в рубахе.

– Вот поэтому-то и неловко! Накиньте на себя что-нибудь.

– Да помилуйте, зачем же? Бельё на мне чистое. Ведь от красной рубахи вы-бы не отвернулись, а тут вдруг... Ну, хорошо, хорошо, я за куст встану. Мужнины пеленки развешиваете? – задает он вопрос.

– Да, сейчас только вернулся с купанья и как сноп растя-

нулся. Ведь он натирается.

– Чем нынче натирался, дресвой?

– Нет, пока ещё всё песком трется. Сразу нельзя, можно всю кожу содрать. Потом на толченый кирпич перейдет, а с кирпича уж на дресву, да вот, что-то всё плохо помогает, спина у него...

– Пусть-бы он крапивой себя по пояснице стегать попробовал. Я таким манером двоих вылечил. Потом взять махорки, отварить её в кипятке, натолочь стекла...

– Полноте, уж и это-то лечение надоело. Ну, прощайте, пойду невод ему плесть.

– А видели новую собаку у Петра Семеныча? Вот так сука! Голос – что твоя Пати, – кричит дачник. – Куда-же вы, Марья Ивановна? постойте. У меня жена купаться ушла и ключи с собой унесла. Дайте мне стаканчик водки. Ужо этот долг полностью в вашего супруга волюю. Закусывать не надо.

Соседка выносит соседу стаканчик и упрашивает того не выходить из-за куста. Сосед глотает и видит перед собой охотника, во всем вооружении остановившегося у калитки. Ружьё за плечами, высокие сапоги, ягдаш с двумя-тремя птицами и венгерка, вся в грязи. Сзади пес, выставивший язык.

– Купцу! – кричит дачник охотнику. – Где шлялся, купоросная твоя душа?

– Ох, и не говори, Вася! Пошли мы это трое: я, трагик и восмипудовой кожевник с нами, – отвечает охотник. – Туда

забрели, что уму помраченье! Я тебе говорю, такие места, такие!.. Утка на мою долю досталась, две тетёрки, вальдшнеп. По горло в болоте увяз. Видишь, весь в грязи.

– Не хвастайся, Гришка, ты в луже нарочно валялся и потом сверху пылью себя посыпал. Голопятовы ребята тебя видели, – обрывает его дачник. – А то вдруг в болоте... ну, твоёму-ли рылу?..

– Ей-Богу, в болоте увяз. Пошел своих искать и увяз. Где же бы я утку-то?..

– И про утку врешь. Утка домашняя, а вальдшнепа с теётёрками ты у Увара Калинова купил.

– С места не сойти, сам убил. Кроме того, двух зайцев видел. Вот ещё галку застрелил. Это огородники просили, им на огород пугало поставить.

– Про галку верю, а остальное ты купил, и купивши, вывалялся сам в грязи. Ну, не разыгрывай из себя охотника, не люблю! Какой ты охотник? Тебя и собака не слушается.

– Мне разыгрывать из себя нечего, я не актёр. Это вот тебе, так с руки, потому ты актер.

– Ты ещё остришь! – кричит на него актер. – Говорю, что валялся в грязи, и всем буду про это говорить. Пошел прочь!

– Валялся в грязи! Стану я валяться в грязи! Да, что я, свинья, что ли?

– Конечно, свинья. Подари мне твою собаку, а то всем и каждому буду рассказывать, как ты в луже валялся и пылью себя посыпал.

– Не могу, Вася. Собака эта такая, я тебе скажу, что просто чудо! Она у меня в городе сама у парадных дверей на лестнице в колокольчик звонит. Схватится зубами за ручку и дёрнет; водку пьет. Она даже понимает, кто ко мне зачем ходит. Ежели кто придет деньги мне платить, на того молчит, а кто получать с меня, – так и лает, так и лает. Смотри, какие умные глаза.

– Конечно, умнее твоих. Не серди меня! Ну, подари собаку, иначе...

– Ей-Богу, не могу, Вася. Лучше я тот долг тебе сотру. Помнишь, сорок два рубля?

– То само собой. Да с чего ты взял, что я тебе буду отдавать деньги? Вот ещё!

– Ну, прощай, Вася. Тремоль, идём! – кричит охотник собаке. – Прощай, давай руку.

– Чёрт с тобой, я подлецам руки не даю, – отвечает актёр. Купец уходит.

Актёр, оставшись один, начинает зевать. Дудки перепелиные надоели, собака выдресирована до того, что даже перестала слушаться, ружьё вымазано салом, водки нет, что делать? Спать? Но он час назад только встал.

– Напрасно я Гришку-то от себя прогнал. Можно-бы было в орла и решетку на рублишко ему бок начистить, бормочет он. Разве на взморье пройтись? – задает он себе вопрос. – Эх, брюки-то надевать лень. Ну, да я так, пальтишко накину.

Актер надевает пальто и шляпу и идет по улице. Тиши-

на. Бродят нищие, останавливаясь у окон и прося подаяния. Где-то плачет ребенок. Двое мальчишек играют у забора в бабки. В одном из палисадников копошится священник, присев на корточки. Он в подряснике и с заплетеной косой.

– Духовенству ядовитое почтение с кисточкой! – возглашает актер и останавливается: Чем это вы, святыня, занимаетесь?

– А червей копаю. Ужо рыбу удить идём, – отвечает поп. – Слышали осетра-то какого на Козлах поймали? – полторы сажени длины.

– Слышал и даже видел его. Осетр-то, говорят, жалованный, с медалью...

– Ну, что вы врёте. Разве осетры бывают жалованные? – улыбается священник.

– А ты думал как? Помнишь осетриху с серьгой в ухе поймали? Осетрих жалуют серьгами, ну, а осетров медалями. Сам видел: так это она на груди у него и висит.

– Да вы, может быть, про купца Осетрова, что в Милютинных рядах?

– Нет, про осетра. Сходи в Зоологический сад посмотри, – говорит актер и спрашивает:

– Водка есть?

– Есть то есть, только я в эту пору не пью. Без благовремения зачем же?

– Ты сам и не пей, а меня поподчуй. Вели-ка попадье соорудить.

– Неловко, осердится. Так с медалью? Вот диво-то!

– Ты зубы-то не заговаривай. Осердится? Какая же ты глава в доме, коли жены боишься. Ну, рюмка за тобой.

Актёр идет далее. У окна, заставленного плющом, остановились нищие и просят. Вдруг раздаются звуки тромбона. Кто-то рявкнул из «Роберта». Нищие так и отшатнулись от окна. Старичишка даже запнулся и шархнулся на землю. Из комнаты слышится хохот.

– Микешка, это ты? – кричит актёр.

– Я, здравствуй, Вася! – откликается голос. – Вот потеха-то! А я, брат, разнощиков и нищих трубным голосом пугаю. До тошноты надоели приставаемым. Только этим и спасаюсь.

На крыльцо выходит жирный блондин, с тромбоном в руках. Он в коломенковом халате, надетом на голое тело, и в туфлях. Халат распахнулся и обнажил полную грудь.

– Плясуну и жрецу Терпсихоры – толстое с набалдашником! – возглашает актёр и протягивает руку. – А где-же плясовица?

– Купаться ушла, а ребяташек разогнал мух ловить. Теперь плотва появилась... На муху-то чудесно. Войди. Я совершенно один. Прохладительное питьё от скуки из коньяку со льдом и лимоном делаю.

– С утра-то? Да ты с ума сошёл? Ведь это разврат.

– С утра-то и прохлаждаться. Хочешь хлебыснуть стаканчик? Долбани.

– Вот что... ты уж мне дай лучше гольём. Что доброе портить. У Петра Семенова новую собаку видел? Вот, брат, так сука! На каждую птицу особую стойку делает.

– Полно врать. Ничего нет особенного. Мой кобель в десять раз лучше. Он у меня теперь пятиалтынный от гривенника отличает. Дашь ему пятиалтынный – кланяется, дашь гривенник – трясет головой, дескать не надо.

Актер взбешён.

– Дура с печи! Да разве для охотничьей собаки это нужно? – кричит он. – Тут стойка, трель в лае нужна. Фокусам-то можно и дворняжку обучить. У меня Арапка вон даже часы смотрит. Спрошу который час, ну, она сейчас лапой.

– Видел я твою Арапку. Прошлый раз четырнадцать часов насчитала.

– Что ж такое? и человек ошибиться может. А у тебя твой Фингал тетерьку на охоте съел, ногу твою за тумбу принял. Ну, молчи, давай коньяку-то...

– Да ты посмотри его прежде. Эй, Фингал, иси! Ты погляди у него нос. Ну, пощупай. Масло сливочное. Возьми его за брюхо...

– Давай, говорю, коньяку! – пристаёт актёр.

Друзья входят в комнату. Начинается глотание. Смотрят и собаку. Актер рассматривает ошейник с надписью: «Фингал. П. Л. Столетова».

– Ты зачем же это над своим именем корону-то сделал? – говорит он. – Разве ты граф или князь? Короны дворянские

бывают, а ты прохвост.

Хозяин обижается.

– Нет, врешь. Я отставной балетный артист. Да у меня и корона не дворянская, – отвечает он. – У меня на ложках и на посуде...

– А то какая же? Балетные короны разве бывают? Тебе лиру следует.

– Да разве я на лире играю?

– Дурак. Впрочем, я и забыл: и лира тебе не по чину. Ведь ты скоморох, плясун, Тебе погремушки и колпак дурацкий.

– А ты-то кто?

– Я драматический актёр. Я страсти олицетворяю. Понял?

– Это стулья то вынося на сцену, страсти олицетворяешь?

– Ах ты, дубина, дубина!

Балетный танцор вспыхивает.

– Как ты смеешь ругаться в моем доме? – кричит он. – Мое пьешь, мое ешь и меня-же ругаешь? Пошел вон! Фингал, пиль его! Ах ты прощальга! Шулер биллиардный! Тебе-бы только полушубки купцам начищать, выжига ты этакая.

– Ну-ну, ты не очень... Я ведь и сам отвечу... – спадает в тоне актер и ретируется. – Балетная корона! вот дурак-то! – бормочет он.

Ему попадается купец.

– Пьют что-ли, там? – обращается он с вопросом, и, не дождавшись ответа, говорит: а я, брат, вчера с Фомкой двух

зайцев... Не зайцы, а телята, в одном пуд десять фунтов. А все Нерон. Не собака, а роскошь! Да куда ты?

– Отстань. Объясни пожалуста этому болвану, что балетной короны не бывает. После этого и купцы корону имеют.

– А то нет, что ли? Купеческая корона завсегда имеется.

– Купеческая корона... вот как хвачу по затылку! – замалчивается актёр.

На улице толпа. Идут мужчины, женщины, дети; виднеются дамские зонтики.

– Федя, куда это вы? – окликает кого-то купец.

– Собаку топить. Ивана Кузьмича собака, Дианкина мать, чума у неё. Лечит, лечит – никакого толку. Пойдем, посмотрим. Интересно. Да и лучше: некоторые говорят, что бешеная.

И купец, и актёр, и танцор выходят за калитку и присоединяются к толпе.

Вдруг, в одном из палисадников раздаётся выстрел; за выстрелом крик; какой-то мужик машет руками.

– Иван Норфирьич! Нешто возможно в куриц чужих стрелять? Разве это охота? – кричит он.

– Я нечаянно, я по ошибке, я хотел в ворону. Мне чтоб ружье попробовать.

– Попробовать! Ворона на дереве, а вы по земле стреляете. Курица только нестись начала.

– Ну, молчи, Ферапонт, я деньги отдам.

– Мне не деньги ваши нужны, курица полтора рубля, а вы

можете в человека попасть. Ведь опять на меня своротите. Прошлый год и то целый заряд дрови в повивальную бабку всадили. Спасибо ещё, что карнолин её спас, а меня к мировому таскали.

– Ну, довольно, довольно!

Толпа останавливается и начинает глазеть.

VIII. Карповка

Карповка – это речка, отделяющая Аптекаровский остров от Петербургской стороны. Карповка – это родная сестра Черной Речки, что можно тотчас же узнать по их фамильному благоуханию, по готовой «ботвинье», всегда имеющейся в достаточном количестве в недрах их мутных вод, которую так любят месить веслами обитатели той и другой речек. Карповка – это первая ступень дачной жизни. Серый купец, познавший прелесть цивилизации в виде дачной жизни, и решаясь впервые выехать на лето из какой-нибудь Ямской или с Калашниковой пристани, едет на Карповку и потом, постепенно, переходя к Черной Речке, Новой Деревне, Лесному, доходит до Парголова и Павловска. На Карповке он отвыкает от опорок, заменяя их туфлями; ситцевую рубашку с косым воротом и ластовицами, прикрытую миткалевой манишкой, меняет на полотняную сорочку, начинает выпускать воротнички из-за галстука, перестаёт есть постное по средам и пятницам, сознаёт, что можно обойтись и без домашних кваса и хлебов, начинает подсмеиваться над кладбищенскими стариками, наставниками древнего благочестия, сознаёт, что и «прикащики – то же люди», укорачивает полы сюртука, отвыкает от сапогов со скрипом и впервые закуривает на лёгком воздухе «цигарку»; – одним словом, приобретает лоск и быстро идёт по пути к прогрессу.

Обитатели Карповки делятся на «жильцов» и «дачников». Пояснять отличие тех от других я не стану, ибо оно и само понятно. Жильцы состоят, большей частью, из мелких чиновников; дачники есть всех сословий. Большинство дачников, кроме купцов, переселяется сюда «со всей своей требухой», не оставляя за собой городской квартиры, и старается прожить как можно дольше, иногда до октября, соблюдая выгоду, ибо за дачу платится в лето, а не помесечно. Домохозяева не любят этих дачников. Иногда случается, что дачник, дождавшись первого снега, зимует на даче и превращается в жильца. Жильцы всегда во вражде с дачниками, хотя, в сущности, им делить нечего. У жильцов господствует какая-то зависть к дачникам. Особенно это заметно у женщин. С завистью смотрят они на наряды дачниц, на их летние платья, шляпки, и, покупая себе на обед у рыбака десять ряпушек и окунька с плотичкой, питают даже ненависть к дачницам, приобретающим у того – же рыбака матерого сига на пирог.

Поселение Карповки незначительно. От Карповского моста до казарм считается едва двадцать дворов, а по речке, через Каменноостровское шоссе, и того меньше. К Карповке причисляется и Песочная улица. Там живут аристократы Карповки, стыдящиеся выходить на улицу в халатах и распашных капотах.

Заглянем на Карповку в воскресный день, когда и мужская половина дачников находится в сборе.

Время под вечер. Из нарядной дачки, на песчаный двор,

заросший местами травой, вышел «основательный» купец. Он в туфлях, без шляпы, в коломенковом пальтишке. Вышел, потянулся, зевнул и крикнул, ни к кому особенно не обращаясь:

– Ставьте самовар-то, черти окаянные!

– Сейчас, сейчас, Кузьма Данилыч, – засуетилась на балконе жена, что-то прожеывая, и, схватив с тарелки горсть кедровых орехов, бросилась в комнаты.

– Кузьме Данилычу, – раскланивается перед ним дворник, тащущий через двор на коромысле два ведра с водой. – Поспать, сударь, изволили?

– Да, отсвистал таки часика два с половиной, – отвечает купец, почесывается и треплет себя рукой по жирному брюху, на котором незримо буквами написано слово «доверие».

– Ну, и чудесно! Теперь чайком побалуется, а там проминаж... Пицца у вас хорошая, сытная. И мы от вашей пицци крохами сыты. Кабы не вы, подошли бы... Сами возьмите, что у нас за народ живет? Чиновница с дочкой вот в этой дачке селёдкой, да кофейными переварками питаются, полковница, что наверху...

– Полковница! Может только рядом с полковником лежала. Ты читал ли паспорт-то?

– В паспорте, это точно, сказано, что она вдова подпоручика, ну, а сама она себя полковницей величает. Полковница эта, говорю, без дров живет, потому она на керосиновой лам-

не себе вареву делает. Чай, да булки, а суп – ложкой ударь, пузырь не вскочит. На что тут нашему брату покуситься? Наверху, опять, чиновник – тот окурки сигарок по земле собирает, да в трубке курить; восьмушкой лошадиной колбасы обедает. Знали бы и не пустили. Одно – дачу нанимал другой барин, а он переехал. В прошлом году он жил на соседской даче, так его только в декабре выжить могли. Ей-Богу! Шубёнки никакой. Чуть не подох! К будочнику в будку греться бегал. А то, так у дворника сидит. Да уж потом пущать не стали, потому на каверзы пустился. Не жрал он тут дня три; прибегает в дворницкую, видит дворничиха лапшу хлебает, облизнулся и говорит: «смотри-ка Ульяна, что народу на улице собралось, шар летит, да таково низко, пренизко». Та, дура, само собой, и выскочила на улицу шар смотреть, а он лапшу-то съел, опрокинул чашку, да и говорит, что это кошка. Вот какие, сударь, дачники! С полицией сгоняли; так и денег не отдал. «Я, говорит, обязался в конце лета за дачу заплатить, а для меня еще и посеючас лето». Это в декабре-то! А вы у нас дачники желанные... дай Господь...

Брюхо купца колышется, уста разверзаются для улыбки.

– Ну, это голь, шмоль и компания, – говорит он, лезет в карман за пяти-алтынным и сует его в руку дворнику.

– Много, сударь, благодарны, – кланяется тот и продолжает свой путь с вёдрами.

Купец выходит за ворота, и остановясь на мостках, смотрит на речку. По речке, в барочных лодках, купленных за два

с полтиной, катаются дачники. Лопата заменяет руль, вместо уключин весла прикреплены верёвками к палкам. Вот три чиновника катают барышню в соломенной шляпке; двое на вёслах, один на руле. Гребли, гребли они, заехали в ботвинью и сели на мель. Барышня визжит.

– Помилуйте, чего вы? Страшного тут ничего нет. Мы сейчас на баграх пройдем, – утешают они её, вскакивают с мест, упираются вёслами в грунт, но ещё больше залезают на мель.

Лодка не идет ни взад, ни вперед.

– Ну, что-же вы наделали? Как вам не стыдно! А ещё хотели на Лаваль-дачу. Как-же мне на берег-то попасть? Ведь не в брод же идти, – чуть не плачет барышня.

– Не беспокойтесь, Анна Дмитриевна, сейчас мы вас снимем с мели и доставим на Лаваль. Эй, почтенный! – кричат гребцы мужику на барке. – Сделай милость, влезь в воду и сними нас с мели!

– На полштоф дашь? Меньше ни копейки! – отвечает мужик и, почесывая спину, отворачивается.

– Ах, Боже мой, дайте ему. Пусть он нас снимет с мели, – упрашивает девушка.

Гребцы переглядываются друг с другом и шарят у себя в карманах.

– Миша, есть у тебя деньги? У меня в том сюртуке остались.

– Нет, я дома забыл. Нет-ли у Феди?

– У меня всего восемь копеек.

– Врёшь, ты вчера у экзекутора занял целковый.

– Не целковый, а пятьдесят рублей занял у экзекутора, – вспыхивает как пион Федя, – но они у меня дома. – Почтенный, ну, сними сапоги и спустишь в воду. Мы тебе восемь копеек дадим. Все-таки на шкалик.

– И мараться не стоит. Уж коли сел на мель, так и сиди, – бормочет мужик и даже не оборачивается.

Гребцы почесывают затылки.

– Ах, Господи! Так как-же нам быть-то? – восклицают они хором. – Нужно самим раздеваться и лезть в воду.

– При мне-то? Что вы! Разве это возможно? Да вы с ума сошли, – говорит барышня.

– Да вы, Анна Дмитриевна, не беспокойтесь. Мы только снимем сапоги и засучим штанины, а остальное всё будет в порядке. Видали в театре венецианских рыбаков? вот и мы так-же.

– Нет, нет, это невозможно! Всё-таки ноги ваши...

– Только до колен; брюки и весь остальной состав останутся. Ну, посудите сами, что ж нам делать! Не прибыли же воды ждать. Наконец, вы можете отвернуться, закрыться зонтиком.

– Попросите вон у тех мужчин, что на лодке, чтобы они попробовали нас за веревку потянуть. Киньте им веревку от нашей лодки, – упрасивает барышня. – Господа, будьте столь добры, не можете-ли?... – обращается она к гребцам другой

лодки.

Делается буксирная попытка, но тщетно. Лодка так и врезалась.

– Делать нечего, надо раздеваться. Отвернитесь, Анна Дмитриевна. Федя снимай сапоги!

– Я сниму, но пусть и Вася снимет. Все и влезем в тину. Снимай Вася.

Вася смущен.

– Не могу я при ней снимать сапоги, – шепчет он. – У меня внизу не чулки, а портянки. Ну, что за вид?

– Важное кушанье! – у меня и того нет, я на босу ногу.

– Не кричи, пожалуйста. Ты другое дело, за ней не ухаживаешь, а я виды на неё имею. Наконец, вы и двое можете стащить лодку.

– Нет, вдвоём мы не полезем! Ужь лезть, так лезть всем троим.

– Да пойми ты, я на линии жениха. Я ей два раза по фунту конфет подарил и ликерное сердце.

– И как это, господа, вы на гуляньи и вдруг без денег? – говорит девушка.

– На кислые щи я взял восемь копеек.

– А я вынул десять рублей, положил на стол и вдруг...

– Да полезайте же, господа!

– Сейчас, сейчас. Отвернитесь. Снимай, Вася, сапоги, она отвернулась и не увидит (идет шёпот).

– Ей Богу, увидит, она глазастая. Видишь, из-за зонтика

смотрит. Заслони меня.

Кое-как гребцы снимают сапоги, засучивают брюки и лезут в воду.

– Ой, да здесь яма. Смотрите, я по брюхо в воде. Ну, что теперь делать? и штаны и визитка...

– После обсудим. Пихай лодку! Ну, понатужимтесь! Раз, два.

– А вы, господа, дубинушку затяните, ходчее пойдет, – глумится с барки мужик. – Эх, а еще господа! Трех гривенников пожалели! Сейчас видно, что стрюцкие!

– Молчи, чёртова кукла!

– Чёртова кукла, да вот не для тебя! У!.. крапивное семя.

– Федор Федорыч, не ругайтесь, плюньте на него! – упрашивает девушка.

– Я те, барышня, плюну! Тонко ходите, не равно чулки отморозите!

Мужик сбрасывает с барки полено и обдаёт брызгами компанию.

– Послушай, мерзавец, я городского позову!

Лодка сдвинута. Гребцы влезают в неё и начинают одеваться. С Васи льется вода.

– Послушайте, что это за свинство! Где-же мой сапог? Вы его в воду уронили. Ну, как-же теперь на Лаваль? Я без сапога. Кто ж его кинул? Вон из воды ушко торчит.

Сапог достали, вылили из него воду, но он не одевается на ногу. Приходится ехать домой.

А на берегу, уперши руки в боки, хохочет «обстоятельный» купец.

– Иди, Кузьма Данилыч, самовар давно готов! – кричит ему жена.

Купеческое семейство располагается на дворе за самоваром и начинает пить чай, а напротив, на том-же дворе, на полуразвалившемся балконе идут пересуды.

– Смотри, смотри, опять чай жрать принялись, – говорит вдова-чиновница дочке. – И как только не лопнут? Четвертый раз сегодня.

– Но, маменька, ведь мы и сами сегодня третий раз кофей пьём, да два раза переварки пили, – пробует возражать дочь.

– Так ведь это питание, и для нас взамен обеда, а чай, так себе, теплая сырость. Ну, молчи, не тревожь мать. Лучше-бы ватную шинель с немецким бобром на веревке развесила, да поколотила-бы её. Иван Мироныч то и дело мимо ходит. Удивительное равнодушие! Ничем не хочешь мушкетера прельстить! Жених в руки даётся, а она... К тому-же, к купцу прикащики в гости приехали. Народ холостой.

– Прикащика выеденным молью воротником не прельстишь. Он норовит на каких-нибудь каменных банях жениться или пустопорожного места ищет с денежным прилагательным. Окромя того бриллианты.

– И за тобой пятипроцентный билет с выигрышами, да бабушкина бриллиантовая серьга.

– Одна-то серьга.

– Дура, из одной можно две сделать. Там четыре бриллиантика. Наконец, Иван Мироныч... Эй, девка, не упускай случая! Я третий день подряд на окошке пятипроцентный билет утюгом разглаживаю. Вчера он прошёл мимо и приятно таково улыбается. Вчера билетом, а сегодня шинелью можно прельстить, потом серьгу надень.

– Ведь она одна. Не в ноздрю же мне её надеть. Вот ежели бы брошка...

– И, матушка, другая бы и в ноздрю надела, только-бы жениха подцепить!

– Ах, оставьте! Вы знаете, я не люблю интриг подводить! Купец отпил чай, надел халат и икает; жена его жуёт пряники. Приехавшие в гости приказчики, как облитые водой и вытянув руки по швам, бродят по двору.

– А что, не сыграть ли нам в преферансик по маленькой? – обращается хозяин к приказчикам.

– Как будет вашей чести угодно, Данило Кузьмич, – отвечают они. – Не замотаться-бы только, потому завтра в лавку.

– Тащи стол и карты!

Через пять минут хозяин и прикащики играют на дворе в преферанс. Купцу не везет. Около стола взад и вперед шмыгает чиновничья дочка, предварительно нацепив на грудь огромный розовый бант, умильно взглядывает на приказчиков и закатывает глаза под лоб. Для Ивана Мироныча вывешена на веревку шинель. Купец проиграл, остался без трех и поставил большой ремиз.

– Тьфу ты окаянная! Как блоха неотвязчивая! – плюет он по направлению к чиновничьей дочке. – Как пройдет мимо, словно колода! Ну, чего ты мотаешься, барышня? Точно смерти ждет! Брысь!

Девушка так и шарахнулась в сторону. На глазах слезы.

– Удивительно, какие учтивые кавалеры! Так тулупом и пахнет! – говорит она.

– А ты уж и обнюхала! Ну, пошла прочь! Через тебя проиграл.

– Мужик!

– От принцессы слышу. Вишь, какая арабская королева выискалась!

Купца начинают успокаивать жена и приказчики. Девушка, заплакав, уходит. С балкона ругается вдова-чиновница.

– Плюнь на него, Машенька. Вишь, он до радужной кобылы допился! Леший!

Во двор врывается Иван Мироныч и рыцарски заступает за девушку. Купец подбоченился.

– Ты чего прилез? За оскорбление получить хочешь? На рубль целковый! – кричит он. – Не дожدهшься! И рук о тебя марать не стану. Эй, дворник! Калистрат! Поласкай его поленом.

– Послушай, борода! – горячится чиновник. – Я надворный...

– Знаю, что надворный, не комнатным-же тебе быть. Рылом не вышел! Гоните его.

– Не смеешь гнать, это наш гость, – вопит с балкона чиновница.

– А коли твой гость, то и привяжи его на цепь, чтобы он на людей не бросался!

Мало по-малу всё успокоивается. С соседнего балкона слышны ругательства шёпотом. Снова пьют кофей. Игра в преферанс продолжается.

«Пики, трефы, бубны, семь первых». Купец отбил у приказчиков игру, купив до восьми червей, и объявляет «просто трефы».

– Вы до восьми червей изволили покупать, – осмеливается заметить прикащик.

– Трефы! – возвышает голос хозяин. Ты торпеду-то не подводи.

– Может, девять трэф, и вы, как монитор, супротив нас?

– Просто трефы!

Приказчик ходит. Купец кладет туза масти, другой прикащик бьёт козырем.

– Извините, Кузьма Данилыч, но дизентерия маленькая вышла с вашей стороны, и мы у вас лафет подбили.

– Как лафет? Мой ход. Как ты смеешь? Давай назад, я козыряю.

– Вовсе не ваш ход! Извольте поглядеть, вот и сдавальщик сидит. Окромя того, вы до семи червей.

– Как ты смеешь меня учить? Урод! Я игру лучше тебя знаю. Пошел вон! Обыграть хотели!

– Нам ваших денег не надо, а только...

– Оставь, Трифон! Действительно, их ход. Ходите, Кузьма Данилыч.

Купец взбешен и бросает карты.

– Не желаю я ваших снисхождений! Довольно! Убирайтесь домой! – горячится он: Верно сговорились мне полушубок вычистить? Не удастся!

Вступается и жена.

– Туда-же всякое лыко в строку! – обращается она к приказчикам. – Ведь он хозяин. Да хоть-бы и проиграли ему, так ведь, чай, не своё, а у нас же наворованное.

Приказчики берутся за шапки и прощаются.

– Дай им поужинать-то, – шепчет она мужу.

– Не надо! Коли мобилизацию на себя эту напустили, так пусть налегке домой бегут! – отчеканивает он, потягивается, грозит сидящей на балконе чиновнице кулаком и говорит: Похлебать-бы, да и ко сну...

IX. Павловск

Когда-то Павловск был аристократическим дачным местом. В нем прозябали в летнее время исключительно родовитые люди или чиновные. Какой-нибудь Триждыотреченский, ясно доказывающий своё происхождение, не иначе решался переселиться на лето в Павловск, как по достижении им чина действительного статского советника. Надворный советник, ежели он не мог доказать документами, что его предков «били в орде батогами нещадно», сажали на кол или, уже в крайнем случае, отрезали нос и уши, был здесь немислим как дачник. Даже денежная аристократия не решалась сюда переезжать на дачу. Теперь уже не то. Население явилось смешанное. Павловск сделался притоном всех чинов, всех сословий, всех наречий. Недостаточный человек сюда не поедет: и дачи не по карману, и проезд дорог. Разве сунется он в деревни между Царским Селом и Павловском. Таких, впрочем, очень немного.

В Павловске прозябают ныне все те, которые имеют возможность заплатить в лето за дачу не менее трехсот рублей. Рядом с генералом живёт какой-нибудь купец из Перинной линии и ежедневно дразнит генеральшу, выезжающую на музыку на клячах, своими тысячными рысаками. Тут же приютился модный адвокат, поселилась содержанка, банковский кассир и жид, жид, жид, начиная с биржевика и подряд-

чика, до концессионера включительно, — жид полированный, всячески старающийся задушить свой чесночный запах одеколоном. Жидов и содержанок здесь особенно много. Некоторые улицы вплотную населены содержанками, и есть дачевладельцы, которые исключительно отдают свои дачи внаём содержанкам, находя это более выгодным, ибо содержанка не скупится на чужие деньги.

Днем, Павловск сонлив и скучен, также как и Лесной. На улицах и в парке вы исключительно встретите только нянек с ребятами, да разносчиков. Он оживляется только по вечерам, и то около вокзала, где играет музыка.

Попробуем, однако, проследить будничный день, начиная с утра.

Девятый час. По улицам бегут с портфелями под мышкой чиновники, чином до статского советника, спеша поспеть к отходу поезда, купцы, торопившиеся в лавку. Люди чином выше, а также биржевые жида и адвокаты едут позднее. В парке малоллюдно. По одной из аллей прогуливается старик, отставной генерал, в белом кителе, и, маршируя, напевает военные сигналы. Он с палкой в руках; из заднего кармана у него выглядывает кувшин с минеральной водой. Генерал пьёт воды и делает движение. Скучно генералу. Он останавливает разносчика с ягодами, приценивается почем фунт, спрашивает разносчика, какой он губернии и уезда, женат он или холост, есть ли у него дети, сколько барыша он имеет в день от своего товара. Разносчик добросовестно отвечает на

все его распросы, и пытливо взглядывая на широкие красные лампасы генеральских штанов, спрашивает:

– Так не купите, ваше превосходительство, земляники-то?

– Нет, любезный, иди с Богом! Я так только... Мне ягоды запрещены, я воды пью.

Разносчик отходит в полнейшем недоумении, а генерал останавливается перед отдавшим ему честь сторожем, из отставных «ундеров».

– Кавалерист? в кавалерии служил? – спрашивает он его, и, осматривая с головы до ног, внушительно, как труба, сморкается в красный фуляровый платок.

– Никак нет-с, ваше превосходительство, в пехоте. В Балабаевском пехотном полку, – рапортует сторож, вытянувшись в струнку и опустя руки по швам.

– А отчего же у тебя лицо кавалерийское?

– Не могу знать ваше превосходительство. Видно так Богу угодно. С семидесятого года в отставке.

– В Балабаевском пехотном... знаю, знаю. Полковой командир был Красносизов?

– Никак нет-с, ваше превосходительство, – полковник Уваров.

– Ах, да, Уваров, помню. Женатый человек и куча детей у него?

– Никак нет-с, ваше превосходительство, – холост-с.

– Ну, все равно. Полька у него была мать-командирша, с

полькой он жил?

– Никак нет-с, ваше превосходительство, – с поручиком Ивановым. Родной племянник им.

– Георгия за Карс имеешь?

– Никак нет-с, ваше превосходительство, – за взятие Силистрии.

– А ну-ко, пропой на губах сигнал к отступлению.

Отставной воин поет.

– Врешь, врешь! – кричит генерал.

– Вру ваше превосходительство, – отчеканил ундер.

– А еще артиллерист! ученое войско!

– Никак нет-с, ваше превосходительство, – пехота.

– Пехота, а лицо артиллерийское. Ну, ступай с Богом своей дорогой!

Ундер трогается с места.

– Не с той ноги! не с той ноги! Разве забыл маршировку? – кричит ему вслед генерал.

– Виноват, ваше превосходительство, отвык. С семидесятого года в отставке.

– С Богом!

Генерал допил воду в кувшине и отправился домой. По дороге он остановил мальчишку спичечника и подробно расспросил его, какой он губернии, есть ли у него отец и мать, от хозяина торгует или сам по себе, дерёт ли его хозяин розгами, и по сколько раз в неделю, и не сообразя, что мальчишке едва двенадцать лет, задал вопрос: «женат, вдов или хо-

лост?», но тут же спохватился и крикнул:

– Пошел прочь!

– А спичек, ваше сиятельство, купите? Духовые, безопасные есть, – говорит мальчишка.

– Не надо!

Генерала у калитки его дачи ждал уже хозяин-извозчик, пришедший получать деньги за лошадей. Извозчик снял картуз.

– А, Панкратьев, здорово! – приветствовал его генерал.

– Бандурин, ваше превосходительство, – поправляет извозчик.

– Да, Бандурин. Ты, ведь, кажется, Тверской?

– Рязанский-с. Прикажите, ваше превосходительство, деньги получить за лошадей для генеральши...

– Рязанский, рязанский!.. А какого уезда?

– Прикажите, ваше превосходительство, деньги за генеральшу получить.

– Михайловского уезда, ну, и чудесно. Что-же жену, поди, из деревни выписал, в шляпках щеголяет, на рысаках катается?

– Прикажите на счет денег-то...

Генерал громко сморкается в фуляр и издает нечто вроде трубного гласа.

– Насчет денег за лошадей? – протягивает он. – Я, любезный, на лошадях не езжу, мне запрещено, я воды пью. На лошадях ездит генеральша, ты с неё и получай. Ты купец?

Дети у тебя есть?

– Дозвольте получить, ваше превосходительство. Генеральша к вам прислали.

– Ко мне! А какой веры: церковной или к старикам ходишь?

Извозчик в отчаянии. Жирное брюхо его колышется, пот с него льёт градом.

– Ах ты, Господи! – восклицает он. – Коли так, прощенья просим, ваше превосходительство, – говорит он и трогается с места.

– Не с той ноги, не с той ноги! – кричит ему вслед генерал, но, не получив ответа, машет рукой и идёт на балкон.

На балконе нестарая ещё генеральша пьёт кофе. На руках у неё собака; две другие собаки находятся на коленях у жёлтой, как лимон, компаньонки, сидящей тут же.

– Зачем вы ягоды ели? – обращается генеральша к мужу. – Знаете, что вам сырые фрукты запрещены! Не отпирайтесь! не отпирайтесь! Иван ходил в булочную и видел, как вы разнощика останавливали с ягодами.

– Ей Богу, не ел, матушка, я так, только понюхал; остановил разнощика и понюхал, – оправдывается генерал.

– Так вам и даст разнощик обнюхивать ягоды! Наконец, зачем вы останавливаетесь? Доктор предписал вам во время питья вод ходить и ходить. Боже в каком вы виде! – всплескивает она руками. *Voutenez-vous.*

Генерал оправляет костюм и застёгивается.

– Здравствуй, матушка, прежде, – говорит он и хочет поцеловать жену.

– Прежде всего, выздоровейте от вашей толщины и потом целуйтесь, отстраняет она его рукой. Видели вы извозчика Бандурина? Il demande de l'argent.

– Видел, матушка, но ты знаешь, что у меня теперь нет денег. Да и зачем тебе здесь лошади? На музыку можно и пешком...

– Что такое? Вы меня, кажется, хотите лишить всех прав состояния! Какая-нибудь дрянь, жидовка, разъезжает в шорах... Вам мало того, что я заказываю платья вместо мадам Изомбард безместной портнихе и нашиваю на них старые ленточки с фирмой и адресом Изомбард? Ведь вы познакомились с этим биржевым жидом? как его? Шельменмейер?

– Познакомился.

– Ну, и что-же вы сделали? Взяли у него в займы?

– Он обыграл меня в вист на двенадцать рублей. А насчет денег... видишь ли я начал издалика... Сначала любопытствовал, знает ли он военные сигналы, потом спросил, какой он губернии...

– Вы невыносимы! Скройтесь с глаз моих, уйдите, не торчите тут!

– Но я бы хотел кофейку...

– Нельзя вам кофею... Вам запрещено, пейте вашу воду! Уходите же, вам говорят!

Генерал, опустя голову, сходит с балкона. У калитки па-

лисадника стоит нищий и просит.

– Какой губернии и уезда? – раздаётся возглас генерала. – Какого уезда?

А извозчик Бандурин отправился к содержанке Каролине Францовне. Та приняла его у себя в спальней, лежа на кровати.

– Прикажете, Каролина Францовна, деньги за лошадей получить, – говорит он. – Третий месяц, сами посудите... Ей-Богу, сведу со двора, потому уж невтерпеж.

– Ах, милый, да откуда я возьму деньги? Ты знаешь, что я теперь без друга, – отвечает она! – С бароном я поссорилась.

– Что барон!.. Барон для нас никакого состава не составляет, а мы больше на Ивана Федосеича Мухоморова уповали, так как те – купцы обстоятельные. Опять-же дома у них, лабазы...

– И с Мухоморовым разошлась. Погоди, сойду с адвокатом Коромысловым – всё отдаст. Мало того, скажу, что за четыре месяца должна. На жида Шельменмейера я имею виды... Банкир.

– Адвокат за французинку на Крестовском нам же платит, а господин Шельменмейер англичанку держат и по весне ей пару рысаков подарили. Я, сударыня, сведу коней...

– Садись, милый, давай вместе кофей пить. Видишь, как я тебя принимаю? В спальне, глаз на глаз. Это не всякому достаётся. Вот как я тебя ценю!

– Благодарим покорно, а только для нас это разности ни-

какой не стоит. Я, барыня, сведу коней.

– Погоди недельки две, Шельменмейер заплатит. Ну, прошу тебя, голубчик... хочешь, я тебя поцелую?

Каролина Францовна кокетливо улыбается и простирает к извозчику полные белые руки, выставившиеся по плечи из-за белого шитого одеяла.

– Нет, уж это зачем же, это оставьте при себе. Нам это всё равно, что волку трава, мы женским малодушеством не занимаемся. Я, барыня, сведу...

– Эдакий ты бесчувственный! Ну, садись сюда поближе. Ты водочки не хочешь ли?

– Увольте. Без благовремения зачем же? Так как же насчет лошадей-то?

– Оставь мне их недельки на две. Сведёшь со двора, ничего не получишь, а я дело дело могу сделать и потом сполна тебе отдать. Ну, как я без лошадей этого Шельменмейера прельщу? без лошадей цена другая. Понял?

– Как не понять, мы не махонькие. Так вот что, барыня: изволь, на две недели оставлю, а ты орудуй. Ну, прощенья просим! Только вот что: мой совет – приударь за Иваном Федосеичем, хлебнее...

– Прощай, прощай! Через две недели заходи. Или нет, пришли лучше старшего сына, тот сговорчивее.

– Нет, уж сына зачем же?.. Сам приду. Прощенья просим! Извозчик уходит.

Время близится к обеду. Умолкли голосистые разносчи-

ки. Лакеи из «пиньжаков» перерядились во фраки и белые жилеты. От вокзала идут и едут должностные лица, успешные побывать в городе. Некоторые нагружены закупками. Женская половина вылезла из капотов и принарядилась. Кой где в палисадниках накрывают обеденные столы, лакеи расставляют в симметрию тарелки и хрусталь.

С балкона одной из дач сошла барыня и смотрит на накрытый стол.

– Иван, ты зачем мельхиоровый холодильник на стол не поставил? – обращается она к лакею.

– Да зачем же его, сударыня, ставить? Ведь у нас шампанского нет.

– Всё равно, что нет, холодильник придаёт красоту столу. Можешь пустую бутылку из-под шампанского в него поставить. Да выбери с белой пробкой.

– Зачем это? Что за фокусы! – откликается мужской голос с балкона, и из-за листа «Голоса» показывается плешивая голова.

– Не ваше дело, оставьте! – обрывает его дама, – Ну, что за вид без шампанского? Этот жид Шельменмейер может пройти мимо, и вдруг... Сегодня на музыке я окончательно решила попросить у него пятьсот рублей взаймы. Помилуйте, мы должны поддерживать доверие к себе в нашем теперешнем положении. За дачу не заплачено. Ставь, Иван, холодильник, и после обеда кофе в серебрянном кофейнике и на серебрянном подносе.

На другом дворе конюх вывел лошадь в чепраке и гоняет её на корде. Барин стоит поодаль и смотрит.

– Иван Иванович, иди обедать. Нашёл время, когда лошадь гонять, – кричит жена. – Суп остынет, я одна сяду.

– Ну и пускай его стынет. Я дело делаю, а для меня дело важнее супу – откликается муж.

– Мог бы и после обеда, по крайности моцион.

– После обеда никакого смысла не будет в этом деле. Да пойми ты, – тихо говорит он, подойдя к решетке сада и наклоняясь по направлению к жене, – пойми ты, что я велел вывезти её из конюшни для портного. Здесь мой портной из города приехал долги собирать и ходит по дачам; сейчас зайдёт ко мне. Ну, поняла? Будет денег просить.

– Так что ж тут лошадь-то? Ведь она из манежа?

– Скажу, что лошадь купил и сейчас сто рублей задатку дал, почему ему и не могу уплатить по счёту, ибо деньги в городе. Иначе от меня он пойдёт к Шельменмейеру и может рассказать, что я не плачу ему и так далее. Подрыв кредита, а я у Шельменмейера хочу тысячу рублей занять... Ах, Карл Богданович, моё почтение! Пожалуйста, пожалуйста! – восклицает он, завидя портного. – А я вот новой покупкой люблюсь.

В третьей даче уже отобедали. Молодая дама разливает на балконе кофе; бородатый элегантный адвокат в серой паре и соломенной шляпе покачивается на стуле-качалке и читает «Новое Время».

– Женичка, сейчас мимо нас Шельменмейер прошел, и

что мне в голову пришло, – говорит он, ковыряя перышком в зубах и обращаясь, к жене: – ты бы с ним уже на музыке поласковее и по-кокетливее...

– Ах, Серж, он такой противный: маленький, лицо как у обезьяны, зубы оскаленные... наконец, я ненавижу жидов.

– Приневоль себя, от этого зависит моя выгода. Он охотник до женщин, а я хочу попросить у него место юристконсульта в страховом обществе. Он директор и всё может сделать. Шесть тысяч в год, можно из-за этого быть любезной. Наконец, он заседает в трех банках, сам банкир. Рано ли, поздно ли может наделать злоупотреблений... Поняла?

– Ах, Серж, ей-Богу, не хочется, но для тебя я на всё готова. Тебе кофе со сливками или с коньяком?

Но вот из парка стали доноситься звуки оркестра, и по улицам потянулись в вокзал вереницы дачников.

Раньше всех к вокзалу явились старые девы и вдовы-генеральши, статские советницы и засели на первые скамейки, с ног до головы озирая друг друга. Их обожаемый скрипач, смуглый брюнет с маленькой бородой и львиной гривой вместо волос, бросает молненосные взоры из оркестра. Явилась сумасшедшая барыня в красной шали и с целым огородом цветов на шляпе, взяла стул и села впереди всех. Её шаль застёгнута большой брошкой с портретом красавца-скрипача. Пришли купцы с жёнами, приказав им надеть на себя бриллиантовые серьги и браслеты.

– Так-то лучше! Пущай генеральши смотрят, да от зави-

сти в кровь чешутся, – говорят они. Да и нам через эти самые браслеты доверия больше. Вон господин Шельменмейер идёт, а мы у них в банке векселя дисконтируем.

Площадка около оркестра наполняется всё более и более. Публика приезжает и с поездами железной дороги. Приезжих от дачников отличают по цилиндрам. Пенсне и лорнеты в ходу. Дамы передают друг дружке о своих соседках самые сокровеннейшие тайны, узнанные через горничных.

– Вот эта дама вся на вате, зубы вставленные, на груди гутаперча, коса фальшивая и в левой ботинке косок; у неё одна нога короче, – рассказывает одна многосемейная дама. – Смотрите, смотрите, туда-же Шельменмейера хочет прельстить. Ах, чёрт крашенный!

– А Шельменмейеру этому, должно быть, всё равно, бы-ла-бы юбка, – откликается другая дама. – Ну, растаял, слюной брыжжет. Туда-же улыбается, жид негодный!

– Да ведь он, душечка, Марья Ивановна, ничего не видит, хот и в пенсне с зажигательными стеклами смотрит... Батюшки, и адвокатша к нему подошла!

Оркестр играет «Песню без слов» Мендельсона.

– Это должно быть что-нибудь из «Рогнеды», – шепчет дама своему мужу. – Посмотри на аншлаг.

– Ты знаешь, я близорук. Только нет, это не из «Рогнеды», это скорей из «Карла Смелого».

– Душечка у тебя совсем слуха нет. Ежели не из «Рогнеды», то, наверное, из «Пророка».

К разговору прислушивается сидящий сзади купец.

– Ни из «Рогнеды», ни из «Пророка», а просто Травиату из русских песен жарят, – откликается он.

Сидящие на скамейке оборачиваются и смотрят на него в упор. Некоторые лорнируют. Оркестр играет пьянисимо. Где-то, как труба, сморкается генерал.

Х. Ораниенбаум

Я не стану описывать вам самый Ораниенбаум или Рамбов, как его называет простой народ. Это не входит в состав моей задачи. Моё дело нарисовать вам картинку прозябания ораниенбаумских дачников, показать, чем они занимаются, интересуются. Разумеется, я коснусь будничной стороны, обыденной, не тронув праздничной, которая всегда составляет казовый конец. Я вырву две-три картины и покажу их вам.

Дачники Ораниенбаума состоят из актёров, как провинциальных, так и казённых, находящихся на действительной службе или доживающих свои дни в отставке, из купцов покрупнее, из чиновников и разбогатевших ремесленников, удалившихся от дел. Вся эта толпа пересыпана белой фуражкой флотского офицера, играющего здесь роль сахара на куличе. Жители Ораниенбаума досужливый народ. Они не претерпевают муки ежедневного скитания в город и обратно. К своим служебным обязанностям, ежели таковые имеются, они удаляются раз, два, много три раза в неделю и при этом клянут судьбу, заставившую их часом раньше покинуть широкий халат и туфли.

Однако, довольно вступления. Я навожу камеру-обскуру. Полдень, жаркий полдень. Солнце печёт. Пыльно. Лень какая-то видна во всем. В комнатах жужжат мухи. Вот ка-

кая-то крупная муха с синим брюхом налетела на стекло окна, ударилась и свалилась. В комнате одной из дач, с книжкой в руках, лежит на клеенчатом диване актёр-комик. Скучно ему, не читается. Он ворочается с бока на бок, пробует плевать в потолок, но, не достигнув этого, вскакивает с дивана, сбрасывает с себя коломенковский пиджак, потягивается и недоумеваает, чем бы ему заняться. На подоконнике лежат редиска и огурец, оставшиеся от вчерашняго ужина. Взял редиску, откусил, пожевал и плюнул.

– Ах да! Чтоб не забыть! – говорит он сам себе, садится к столу, и, развернув записную книжку, пишет:

«Новый тип для водевильного отца. Лицо по гримировке № 17, фон тёмный, нос с перекурносием, краснота от переносья, по щекам, до верхнего предскулия. На кончике носа можно сделать бородавку с волосом. Без бровей. Брови замазать клейстером из крупчатой муки и потом уже класть подмазку. Морщины испанского злодея. Парик голый, с кустом волос на лбу. Правый глаз подбит. На нижнее веко припустить слегка швейнфуртской зелени».

Написав все это, актер озаглавил на полях книжки: «тип № 109. лит. С.». Вдруг о лицо его ударились две мухи. Он хватил себя ладонью, поймал одну муху и начал её рассматривать. Скучно. Вышел на балкон. Наверху жил другой актёр. Он сидел, тоже на балконе, в одном нижнем белье и пощипывал струны гитары, налаживая пасхальное: «Плотию уснув»...

– Николай Николаич, брось ты эту свою гитару! – крикнул нижний актёр верхнему. Надоело. И ежели бы выходило что, а то только в колки плюешь...

– Да струны спускаются, уж я плюю поневоле. И слюней-то нет, – откликается верхний актер.

– Ты замочи лучше гитару-то, она рассохлась.

– Ну вот! Люди нарочно сушат струнные инструменты по несколько лет, а ты – замочи. Ведь гитара не бочка. Ты знаешь что Паганини со своей скрипкой делал? Он через год клал её в мешок и разбивал об угол, потом склеивал. Зато и звук же был.

– Ну, и тыхвати свою гитару об угол. А я, братец ты мой, поймал сейчас муху и не могу определить: самка это или самец.

– Эх, делать-то тебе нечего! Не об угол надо бы гитарой-то хватить, а о твою голову. Муха!

– Что-же такое! И великие философы мухами занимались; Одюбон, например, Кювье, Карл Фогт... Дарвин, путем преграждения этих самых мух...

– Ну, пошёл, поехал! Путем перерождения, а не преграждения, – поправил его верхний актер.

– Это, брат, всё равно: преграждение и перерождение, был-бы естественный подбор. Дарвин, говорю, путем перерождения превращал даже этих мух в пчел.

– В слонов не превращал ли?

– Ты не смейся! Ведь ты не читал. Прочти, а потом и го-

вори. Ты вот «Рокамболя» прочтёшь, а серьёзной книги тебе читать некогда.

– Врешь, я Иоанна Массона читал. Там он об этой земной коре так толкует, что потом боишься и ходить по ней. Потом, читал Мартына Задеку.

– А ты бы Дарвина почитал. Дарвин произвел особую породу голубей, с красными костями внутри. Скрещивание – великое дело! Вот, ежели теперь взять овода лошадиного и пиявку – какой от них приплод может быть?

– Актёр-комик.

– Ты не шути. Я серьёзно... Ты знаешь ли, отчего утка жрёт в четыре раза больше своего тела весом? Оттого, что у неё теплота необычайная развита в желудке и быстро переваривает пищу до точки кипения... у неё кишки...

– Знаю, знаю. В Париже, в парикмахерских, щипцы для завивки на огне и не греют, а засунут утке в глотку – ну, они и накалятся.

– Пожалуйста, не шути! Все мы живем естественным подбором. Значало была одна момёба, слизь, и от неё произошли все животные.

– Как ты сказал?

– Момёба.

– Ну, наверное, переврал. У тебя талант на это, ты и по суфлеру врешь. Помнишь? суфлер кричит: «коконец и киргиз-кайсак», а ты повторяешь, – «как агнец и, кажись, казак».

– Ну уж, вовсе и не остро! Вначале, говорю, носилась по

необозримому океану тропических вод, согретых внутренним огнем гигантских папоротников, которые, тлея, превращались в каменный уголь, одна момёба. Потом, путем преграждения видов в борьбе за существование пищи, через миллионы тысячелетий квадрилонов явилась обезьяна, а от неё произошли, наконец, и мы.

– Зачем же мы? Ты, может быть, произошел от обезьяны, а я нет.

– Планета наша была раскалена так, что на неё ступить ногами было невозможно. Явились допотопные звери: мастодонты, горизонты, мониторы, ихтионасабры и носились в раскалённом воздухе на перепончатых крыльях, весом в три тысячи пудов, а для отдыха садились на верхушки гигантских папоротников и питались плавающей рыбой. Ну, что ты скажешь на это, Николай Николаевич? Да ты там? Ушел, мерзавец, с балкона! – говорит нижний актёр, заглядывает из палисадника наверх и повторяет: «действительно, ушел». – Укропов! – кричит он.

– Чего тебе? – откликается сверху актёр и выходит уже в брюках. – Я в Петербург еду.

– Ты-то, чёрт с тобой, а мне ребятишек твоих надо. Вели, братец, им наловить мне сотню лягушек; ведь они всё равно ничего не делают.

– Ох, Митрий, скоро тебя на цепь посадят, скоро! Совсем ты свихнул чердаком! – со вздохом произносит верхний актёр. – Ты полечись, не запускай, а то ты, ей-ей, всех нас пе-

рекусаешь. Сходи ты хоть в баню, да натришь чем-нибудь покрепче. Я, вот, скажу твоей жене.

– Смейся, брат, смейся! Над Галиллеем и Коперником тоже смеялись и называли их сумасшедшими, когда они, сидя за самоваром, пары изобретали, а теперь вот из паров-то локомотив да пароход вышли, и ты на них едешь в Питер. На костре жгли Галиллея-то. Совсем уж сторел, а все-таки кричит своим врагам: «а все-таки вертится».

– Голубчик, ну, сядь ты хоть на месяц в сумасшедший дом! – восклицает верхний актёр.

Нижний уже начинает сердиться.

– Да ты говори мне толком: наловят твои ребятишки мне лягух? Я второй месяц жабу здесь ищу и всё найти не могу. Может быть, в сотне-то лягушек и найду одну жабу.

– Это не мое дело. Сговаривайся с ними сам.

– Ну, ладно. Я им за это змея двухаршинного склею. Да, вот ещё что: ежели ты в город едешь, то купи мне в москательной лавке фунт меженного купоросу.

– А его не взорвет в дороге?

– Что ты? Ведь это не глицерин, не пироктемалин.

– Ну, хорошо. Это ты лечиться хочешь, что ли? Ты в темя втирай!

– Дурак! Вон твоя жена с купанья идет. Здравствуйте, Анфиса Петровна.

В калитку влетает пожилая дама, с растрепанными волосами. В руках губка и простыня.

– Где Александра Павлова? позовите ее! – восклицает она. – Новость, великая новость! Представьте вы себе, купчиха-то, керосинщица-то, что в соломенной коляске-то ездил... сбежала!

– Не может быть! С кем? – спрашивает муж, перевешиваясь с балкона.

– С доктором! Сбежала и удрала за границу. Вот оне, купеческие-то тихони! На актрис-то только слава. Из хорошего фруктового семейства богобоязненных купцов, и вдруг!..

– Тут, матушка, семейство не причем. Это чума на бабу нападает, ну, она и бежит, – откликается муж. – Старик Овсяников тоже был из богобоязненного семейства, пудовые свечи ставил, колокола вешал...

– Нет, представьте себе: керосинщица! – всё ещё не может успокоиться актерская жена.

Нижний актер задумался, разставил ноги и чешет переносье.

– Борьба за существование, естественный подбор, и больше ничего! – говорит он.

– Однако, ежели бы этот естественный подбор твоя жена сделала, тогда что? – обращается к нему верхний актёр, – тогда ты как-бы заговорил?

– Никак! Взял бы и стал искать себе в предопределении душ другую самку.

– Оставь его, Николай Николаич, – останавливает мужа жена. – Он иногда такая вещи говорит, что волос дыбом ста-

новится. Я за наших детей боюсь. Вдруг брякнет!.. Ты в город едешь?

– Да, в город. Я хочу, наконец, подать к мировому на этого меховщика. Как же?.. Отдаю на хранение меховой салоп – возвращают тальму, отдаю тальму – возвращают один воротник, и то поеденный молью. Ведь это мерзость!

– Ну, пойдем, я тебя провожу до вокзала, – говорит верхний актер. – Да не забудь купоросу-то...

Актёры выходят.

Комик Дмитрий Петрович проводил «благородного отца» и возвращается домой. Пыльно. Вот проехал шарабан с дамами. Комик раскланялся. Прошёл дьякон – комик подошел к нему и тоже поклонился. Дьякон остановился и начал отирать пот с лица.

– Давно вас желал видеть, отец дьякон, – проговорил актер. – Вы в семинарии были, так, наверное, знаете: в книге «Премудростей сына Сирахова» сказано... опять же и в «Паралипоменоне» то же говориться...

– Что такое? – что такое? – зачистил дьякон и преклонил ухо.

– Что должны были обозначать слова: «мани, факел, фарес»?

– Это вам зачем же? Это слова таинственные и предрекали они гибель царю богохульнику Бальтазару... А вы пари, верно, с кем-нибудь держите?

– Нет, просто так, в голову пришло. Я знаете, люблю муд-

рёные и звучные слова. Скажите, вы не замечали, у вас нет в пруду или около пруда жаб? Не лягушек, а жаб?..

Дьякон смотрит на него в недоумении.

– Нет, не замечал. Да где-же, помилуйте... до жаб ли тут? – говорит он, – каждый день служба.

– Вы, может быть, болезнь жабу смешиваете с жабой животным?

– Нет, я понимаю. Да вам зачем она?

– Хочу поймать, положить в коробку и опустить в муравейник, чтобы скелет сделался.

– Нет, здесь про жаб что-то не слышать. Прощайте, однако, пора!..

– Прощайте, батюшка, извините, что беспокоил.

– Ничего, ничего...

Актёр идет своей дорогой. Попадается навстречу другой актёр, любовник, в самом фантастическом белом костюме. Фуражка с необыкновенно длинным козырём, на ногах стиблеты белые с голубыми бантами, на носу пенсне; рядом с ним громадная собака.

– Здравствуйте, Дмитрий Петрович, – говорит он. – А я сейчас угря для маринаду купил. Угорь два аршина длины.

– В пирог хорошо... угря-то, – отвечает комик. – У Карла Фогта в книге...

– Э, батюшка, что угорь в пироге? – дрянь! – восклицает любовник, стараясь произносить слова в нос. – Вы, значит, не ели хорошего угря в маринаде. Вот у отца повар готовит...

– Вы шкуру-то снимете, так мне отдайте. Молешот говорит...

– Дичь! Молешот никогда не был хорошим поваром. Безобразов взял его к себе и после первой же кулебяки выгнал. А вы попробуйте у отца. Да ежели к этому угрю бутылку холодного шабли, да зелёные рюмки...

– Позвольте, позвольте. Молешот естествоиспытатель...

– Вздор! Возьмите и приправьте его перцем, лавровым листом, лимоном, бросьте щепоть каену. Когда я был в Париже... Вы едали навагу в прованском масле?

– Молешот, естествоиспытатель, говорит...

– Плюньте ему в глаза!.. или нет, возьмите бутылку оливкового масла... Вы знаете, что такое рубцы, простые рубцы, вот что на мостах продают? Сходите к отцу, попробуйте! Ах, да! Слышали про керосинщицу-то? Говорят, пятьдесят тысяч наличными и на двадцать шесть тысяч бриллиантов... Вы помните бриллиант у отца?

Актёр-комик не слушает и продолжает о Молешоте.

– Так вы утверждаете, что Молешот был повар? – кривит он. – Хотите пари на десять угрей и на десять бутылок шабли? Молешот повар! Ах, Боже мой!

– Ну, портной, черт с ним! Так я и говорю: облейте его прованским маслом... или нет, что я... об чем бишь я?.. Да, керосинщица! Нет, доктор-то каков! Ведь она с доктором убежала. Молодец, собака! А ведь так себе мразь! Что вы на это?..

– А то, что иногда самцы по своим перьям или по хвосту... – начинает комик.

– Сами вы самец! вот что. Я думал о деле потолковать, а он чёрт знает что говорит! Ну вас!... Прощайте. Да, кстати, посмотрите сегодня жену в «Блестящей партии». Отец в восторге. Вот это актриса! Милорд! Идём! Прощайте!

Комик смотрит ему вслед, плюет и произносит:

– Дурак! Молешот повар! У Безобразова служил!

Внимание его отвлекает не то громкое чтение, не то пение.

Он прислушивается. В саду, за палисадником кто-то дикуется и громким искусственным басом выкрикивает «мно-голетие». У ворот стоит дворник, без шапки и в опорках на босу ногу.

– Кто это так завывает? – обращается к нему актер. – Шпярят его, что ли?

– Нет, не шпярят, а это погребщик один, Кузнецов... – рассказывает дворник. – Это они в себя приходят, голос накрикивают, так как у них сновидение было, чтоб в дьякона...

– Купец? Погребщик? Да он на биллиарде играет?

– Играл в прошлом году, да бросил, а потом на соловьёв перешел. По сту рублей за хорошего соловья платил. От соловьев на голубей его своротило, турманов гонять начал... Кузнецов фамилия. С актёркой связался, – та, из ревности, головы им долой... Он умоисступление из себя испустил и теперь в помрачении, чтоб дьяконом... Сказал ему, что нуж-

но ястреба съесть... Зажарил и съел. Потом опомнился, рот святить начал...

– Это зачем же, ястреба-то?

– Для голоса, чтобы трепет наводить. Ястреба съел с перьями.

– Ну, и чтоже, достиг своей цели?

– Достиг, только и посейчас каждый день по ночам у него из горла перо летит. Уйдет в дьякона, это верно. Теперича он, как ежели все в отсутствии, оглянется, никого нет, сейчас это полотенце через плечо и давай жарить во всю глотку.

– Пьет?

– Теперь уж не пьет, а спринцует этой водкой горло, по утрам бабью кожу для голоса ест. Затылок себе выбрил, наколот его булавками и лед прикладывает.

– Это для чего же?

– Тоже для голоса. Пятки ртутью мажет... Ходил к архи-рею. «Нельзя ли, говорит, из меня в двадцать четыре часа дьякона образовать?» – «Без послушания, говорит, нельзя, а сперва, чтоб дрова колоть, воду носить». – «А ежели я, говорит, плоть свою умерщвлю?» – «Тоже нельзя». – «А ежели колокол на колокольню прожертвую?» – «Кто три года в послушании...». Двое у нас таких купцов было. Один вон на том углу жил. Бывало и начнут перекликаться. Этот садит «анафему» во все горло, а тот «а жена да боится своего мужа». Тому теперь доктор запретил на две недели, потому, говорит, без передышки и нутро повредить немудрено, стано-

вая жила оборваться может... Войдите во двор, посмотрите: он у нас теперь всё равно, что глухарь, ничего не видит и не слышит.

Актер в недоумении.

– А не кинется? – спрашивает он.

– С опаской ничего, а заметит – сейчас камнем и швырнёт.

– Нет, уж лучше я пойду своей дорогой.

Актёр идет; ему попадается флотский офицер.

– Что это вы тут слушали? – задает он вопрос.

– А купец тут один в борьбе за существование голос совершенствует. Вы Карла Фогта знаете?

– Фохтса, а не Фогта. Их два: отец и сын; у сына портер английский хорош бывает.

– Да вы про кого?

– Про погребщика Фохтса. Только он не Карл, а Андрей или Август.

– А я про натуралиста Карла Фогта. Скажите, ведь смерч в своем столбе водоворота приносит иногда на землю тропических жаб?

– То есть, как это? – вопросительно смотрит на него офицер.

– Да вы в Бразилии бывали? Или на Антильских островах?

– Чёрт знает что вы городите! Не всегда, батюшка, можно быть комиком, нужно быть и человеком. На то сцена есть.

– Так я то, по-вашему, кто же?

– Оставьте меня. Прощайте! – говорит офицер и идёт своей дорогой.

XI. Каменный остров

Характеристику Каменного острова можно сделать в нескольких словах: здесь всё подстрижено, всё прилизано, жизнь в корсете, прозябание на вытяжку. Коренного каменноостровского дачника вы не встретите здесь, на улице, без перчаток, все равно, как за калиткой сада вы не увидите дачницы без шляпки. Филейная косыночка или кружевной фаншон, столь употребительный головной убор всех дачниц вообще, носят здесь только у себя в саду. Исключения допускаются лишь во время переходения из сада в купальню, находящуюся, обыкновенно, против дачи, через дорогу, куда ходят не иначе, как в белых шитых пенюарах. Здесь дачнику даже на балкон немислимо выйти в халате. Халаты заменяются фантастическими домашними костюмами, принаровленными для того, чтобы стеснять человека, связать его по рукам и по ногам. Дачник Каменного острова непременно аристократ, не удравший за границу, в Эмс или Баден-Баден, по случаю расстроенных денежных обстоятельств. Попадаете здесь и аристократ деловой, не поселившийся в Павловске потому только, что там изъязвила свой неприменный каприз жить его содержанка.

На Каменном острове прозябание тихое. Здесь нет даже увеселительного сада. Нигде не играет оркестр музыки, и дачники группируются только на Елагином острове, на взмо-

ры, на знаменитом «пуанте», куда приезжают в колясках, с восьмипудовыми кучерами и ливрейными гайдуками, смахивающими по своим бакенбардам на английских лордов. Уличную жизнь на Каменном живет только прислуга, дачники же прозябают только в садах, откуда выходят только ступая в коляску, для того, чтобы проехаться «по островам», постоять на «пуанте», полюбоваться на заходящее солнце и на яхт-клубистов, чуть не в голом виде спящих по взморью на своих гичках.

День каменноостровского дачника начинается поздно. Только во втором часу вы увидите на балконе утренний самовар. Исключения полагаются разве только по праздникам, дабы иметь возможность побывать в каменноостровской церкви, у обедни. Это единственное место, где каменноостровский аристократ смешивается с плебеем.

Зайдем в церковь в воскресенье.

Служба кончилась. Священник собственноручно выносит особенно почетным дамам просфоры и поздравляет с праздником, спрашивает хорошо ли было стоять, не дуло ли из окон и т. п. В толпе разъезжающихся дам стоит говор. Французская речь перемешалась с русской.

– Bon jour! И вы на Каменном? – кивает наштукатуренная дама другой даме, про которую ходит молва, что у неё лицо на пружинах и морщины разутюжены каким-то новоизобретенным утюгом.

– Да, что делать! Мы хотели ехать за границу, но при на-

стоящих событиях это совсем невозможно. Вы знаете, за наш русский рубль дают только пятьдесят три копейки. Но, я не раскаиваюсь: здесь так хорошо, прелестно! Вода, северная природа... Наконец, надо быть немножко патриоткой. Пьер заседает каждый день... Он в комиссии... в этой... Так занят, так занят... Прощайте!

Дама, с лицом на пружинах, раскланивается и идет к выходу. Наштукатуренная дама смотрит ей вслед. Рядом с ней компаньонка, желто-лимонного цвета, в обносах с барского плеча.

– Не верьте ей, Раиса Всеволодовна, – шепчет компаньонка. Никакой бы курс не удержал её здесь, приказала-бы мужу хоть из земли деньги вырыть и все-таки бы уехала в Эмс, а просто не поехала потому, что губернёр не захотел. Удивительную власть он над ней забрал, вертит ею, как девчонкой. У него в Новой Деревне метресса живет... Каждый день там, каждый день... Вот он и не захотел ехать за границу, ну, а она без него никуда... Срам! И как он с нею обращается! Как мужик. Маша, горничная, видела, как она перед ним на коленях стояла и руки у него целовала.

– Не шипи, змея! Ты знаешь, я не люблю сплетен, – замечает дама.

– И посудите сами, на что им губернёр? Сыновья давно в Пажеском. Мальчишки смышлённые, ведь они всё видят. Ах, немец проклятый! банкирскую контору нынче на награбленные то у неё деньги открыл. На днях старший сын ему

плюху дал. «Вы, говорит, мамашин любовник, так вот вам!» Ну, и ударил...

– Ты врешь, врешь!

Подалее стоят два аристократических брюха; один в пенсне, другой в очках; у одного голова голая, как ладонь, у другого поросла серой щетиной.

– По тому миниатюрному досугу мне и совсем бы нельзя жить на даче, но я воды пью – вот почему я избрал Каменный остров, – говорит щетина. – Павловск я не люблю потому, что там эта ежедневная езда в вагонах: поневоле сидишь Бог знает с кем. Конечно, первый класс, но все-таки... Как ни странно это слышать в наше время, но что делать, я человек старого леса, и каюсь. Вы-то, конечно, поймете.

– О, да! Здесь в коляске! Сел, и через полчаса на службе. Наконец, курьеры, спешные бумаги...

– Ещё-бы!..

Щетина и голый череп молча раскланиваются и расходятся.

Теперь я вас попрошу посмотреть на идилию.

Утро, то-есть утро каменноостровское – час двенадцатый дня. В шикарном садике, обнесенном чугунной решёткой, на садовой скамейке сидит молодой муж, с зачесанными назад белокурыми волосами; он в летнем костюме, в башмаках, в соломенной шляпе; рядом с ним жена в пенюаре, в английской соломенной шляпе, с большими полями. Лицо бледно, глаза оловянного цвета, волосы какие-то пепельные. Против

них, на другой скамейке рядом с нянькой играет нарядная девочка лет шести, в букельках, в филейной юбочке, с голенькими ножками; девочка тщедушна и бледна до невозможности.

– Послушай, Миша, неправда ли, мы всецело отдадимся этому ребенку? – спрашивает жена. – Мы сделаем из него образец человечества.

– О, да. Прошла ты с ней сегодня русскую грамоту? – спрашивает муж.

– Прошла. Сегодня я по методе Золотова... Фребеля я оставила. Золотов гораздо более сосредоточивает ум. Я вот всё думаю, что она имеет слишком много физического труда.

– Но по системе Жан-Жака Руссо... Ах, кстати! вчера я тебе принёс Песталоцци. Он у меня в шляпе. Ничего, что по-немецки?

– Ничего... но я боюсь смешивать вместе несколько систем. Смотри, она у нас и то худеет.

– Это просто от нецелесообразной пищи. Молешот жестоко ошибается. Наконец, новейшие ученые давно уже опровергли его тезисы. Давай попробуем отпускать ей побольше легумину и крахмалу. Казеин молока хорош, но не в таком количестве.

– Да, да, надо попробовать! Кроме того, я, знаешь, что думаю: путем умственных занятий она расходует слишком много фосфору; нам нужно стараться пополнять эту убыль, дабы приход уравновешивался с расходом. Не худо бы, даже,

если бы на стороне прихода был перевес.

– Ах, да! кстати – определила ты её сегодняшний вес?

– Определила, мой друг, неужели я забуду? Ты знаешь, я вся отдалась ей. Сегодня 33 фунта 81 золотник. Каждый день убыль. Со вчерашнего дня шесть золотников.

Муж вздрагивает.

– Неужели? Вот он, Жан Жак Руссо-то со своим физическим трудом на воздухе! Нет, одно спасение в крахмалистых веществах. Знаешь ли что: не бросить ли нам этот гигиенический корсет, в котором мы её держим по три часа сряду?

– Что ты! Корсет необходим. А я просто думаю, что надо сделать совершенную переделку в воспитании. Надо в швейцарских педагогах порыться.

– Мамашенька, я кушать хочу! – говорит девочка, оставляя играть и бросаясь на колени матери.

– Нельзя, душечка, ты уже получила свой первый завтрак из казеина и фибрина. Второй завтрак в час, после гимнастических упражнений, – отвечает мать, взасос целуя ребенка.

– Гляжу я, гляжу и думаю: и что это за бедная девочка у вас, – ворчит нянька. – Вчуже жалко. Голодом держите, пить по часам даёте. Ведь вы замучили её совсем. А ещё говорите, что любите! Вчера пошли мы гулять по двору, а она булку отняла у дворникова сына и съела; траву гложет, поневоле воровкой сделается.

– О, это восторг! это совсем Жан-Жак-Руссовская простота, соединённая с законами Дарвина. Понимаешь ли, ведь

это инстинкт борьбы за существование! – восклицает папаша. – Поди, милая девочка, я тебя поцелую.

– Оставь Мишель, оставь, я целовала её уже, – останавливает мать. – Реклам говорит, что частые поцелуи, особенно в губы раздражают нервы ребенка и приводят его к преждевременному развитию.

– Но я, мой друг, в головку только...

Нянька качает головой.

– Ах нянька, какая ты ворчунья! Не твоё дело, дай нам развивать ребенка! – говорят супруги.

– Мамочка, я кушать хочу, очень, очень хочу.

– Нельзя, душечка, потерпи до часу.

– Послушай, Мари, дай ты ей унц или два крахмалистых веществ.

– Невозможно, Миша. После игры она должна будет углубиться в созерцание природы на полчаса, потом четверть часа на гимнастику педагогическую и четверть часа на гигиеническую.

– Эх, вколотите вы в гроб и этого ребенка! Не людям дети то достаются! – ворчит нянька.

– Молчи же, тебе говорят! Ты уж начинаешь грубить!

– Не могу я молчать, коли у меня сердце кровью обливается. Ведь уж умер у вас от ваших истязаний старшенький мальчик; погубите и девочку.

– Ты глупа и больше ничего! Серж умер от скоротечной чахотки.

– Так ведь в чахотку-то вы же его вогнали. Хороша любовь к детям!

– Я тебя прогоню! – кричит отец и сжимает кулаки.

– Оставь, Мишель. Посмотри, который час, не пора ли за созерцание приниматься? – говорит мать.

– Пять минут первого.

– Боже мой! Пять минут просрочили. Элиз, поди ко мне; сядь рядом.

Девочка садится.

– Что ты видишь, дружок, перед собой? Ответь матери.

– Няньку, – отвечает девочка, – и у няньки в кармане булка.

– Я про природу, мой ангельчик, спрашиваю. Повторяй за мной: во-первых, зеленый луг, на лугу злаки, состоящие из мечеобразных былинки и трубчатых стебельков, желтые цветочки, в виде усечённого конуса, основанием вверх.

Ребенок повторяет, губы его дрожат, он собирается плакать. Мать продолжает.

– Потом, передо мной дуб, кора которого серо-коричневого цвета; листья дуба темно-зеленые с притупленными зубцами. Вот летит белая бабочка.

Такое созерцание продолжается полчаса. Девочка уже плачет. От созерцания переходят к гимнастике на трапедии. Девочку заставляют вытягиваться, она уже громко плачет и даже кричит. Папаша управляет её движениями.

– Оставь её, Мишель, дай ей отдохнуть. Видишь, как она

кричит. Ах, какая блажная девочка!

– Зачем, мой друг? Пусть кричит. Это развивает легкие; она приобретает голосовые средства, укрепляет голосовые связки.

Гимнастика происходит как раз около решетки сада. У решетки, на улице, начинает останавливаться народ и смотрит на кричащую девочку.

– Акробаты живут тут. Вишь, как к своему ремеслу то приучают, – рассказывает бабе-селедочнице маляр, с кистью на плече. – Это вот родители.

– Эх, вырезать бы хорошую орясину, да самих родителей! – восклицает баба.

Папаша оборачивается.

– Идите, милая, а то вас в три шеи отсюда за ваши глупые замечания, – говорит он бабе.

– А ну-ко, посмей! Я вольная торговка! Я с жестяной хожу. Можно и городского кликнуть; он те уймет, акробата! Я трудами хлеб добываю, а не вихлянием! – голосит баба.

– Няня, позовите человека, позовите Карпа!

– Зови, хоть десятерых, и вовсе мне твой человек не страшен. У него не подымет рука на христианскую душу!

– Мишель, оставь, что за спектакль! – останавливает мужа жена.

– Шпарят здесь, что ли кого? – спрашивает за решеткой рыбак, с бадьёй на голове, и останавливается.

– Девочку драть собираются, – отвечает кто-то. – Халужа

за розгами в мелочную лавку послали. Говорят, молочник разбила.

– Мишель, посмотри, который час, может быть, можно оставить гимнастику. Ну, что за радость народ вокруг себя собирать!

– С гигиенической стороны пора оставить, но с педагогической... Впрочем, довольно!

Девочку отдают няньке и приказывают дать второй завтрак. К толпе подходит городской и разгоняет её.

– Я говорил тебе, Мари, что гимнастику нужно перенести вглубь сада, а то каждый день у нашей решётки спектакль происходит, – замечает муж.

Городской, разогнав толпу, останавливается у решетки и делает под козырёк.

– Здравствуй, Уваров, – отвечает на его поклон молодой супруг. – Ну, что прочел ты «Подводный камень», что дала тебе жена? Ну, как тебе понравилось?

– Прочел-с. И даже очень интересно, как это господа с блуждающими женами обращение имеют-с. А только, все-таки, повадка для женского племени, – отвечает городской. – Я так полагаю, что тут полоумные представлены.

– Это тебе от неразвития так кажется. Побольше почитаешь, и будешь иметь другия понятия.

– Это точно-с. Это вы, действительно. Для нас темнота, ну и мудрёно. По-нашему, взял бы, кажись, и выступил супротив этой самой жены с поленом. Нет-ли, сударь, ваше бла-

городие, другой какой книжки, только позанятнее. А то стоишь, стоишь на часах, инда одурь... Вот книжка есть: «о том, как солдат спас Петра Великого».

– Нет, нет, жена приготовила уже тебе большой роман: «Что делать?».

– Ваньки Каина у вас, ваше высокоблагородие, нет-ли?

– Эти книги, мой друг, тебя не разовьют. Я хочу, чтобы чтение было тебе утешением в твоём семейном горе, чтобы ты, наконец, нашёл исход из гнетущих тебя обстоятельств.

– Это действительно, это точно.

– Ну, вот видишь. Кстати, что твоя жена, и как ты смотришь теперь на неё, по прочтении «Подводного камня»?

– Вчера прибежала. Бурнус на ней это бархатный, в соломенной шляпке. Давай, говорит, паспорт.

– Ну, и что-же ты?

– Помял маленько, грешным делом. Прическу попортил, украшение своротил.

– Ай, ай, ай! Значит на тебя чтение не действует, значит к тебе, что к стене горох.

– Нет-с, помилуйте, как возможно, даже и очень чудесно действует. А она зачем Бога забыла?

– Ну, и что-же, разговаривал ты с этим купцом, которому она отдалась? Вчера я думал о дуэли, но дуэль в вашем положении не у места. Положим, ты человек военный и владеешь оружием, но он купец...

– Теперь уж не купец, ваше благородие, а с железной до-

роги они – инженер.

– Как-же ты мне рассказывал, что купец из-под Апраксина?

– Спервоначалу, ваше благородие, это действительно, что она с купцом, ну, а теперь, к этому инженеру перебежала. Да и промеж купца-то был ещё один офицер конюшенный.

– Ах, Боже мой, да это совсем Мессалина какая-то! – всплескивает руками жена Мишеля.

– Хуже, сударыня! Просто шкура барабанная! подстёга на вздёжке!

– Уваров! Что за слова! Удержись, мой милый, – останавливает его барин.

– Виноват, ваше благородие! – вспыхивается городской. Я так, сударь, полагаю, что без рабочего дома не обойдётся, придется её упрятать! Надо, вот, к приставу сходить.

– Что ты! что ты! Как можно наказывать влечение женского сердца! Ты вот прочти «Что делать?»

– Да нешто, тут влечение? Ведь она шельма!..

– Удержись, говорю!..

– Обидно, ваше благородие. Вы-то возьмите: ведь жена. Третьеводня-с говорю: давай пять целковых, а она «накось, говорит, выкуси!»

Супруги в ужасе.

– Пять целковых! Что-же ты это продавать её хочешь, что-ли? – восклицают они.

– Не продавать, а коли ты жена непочтительная, то долж-

на, по крайности, помогать своему супругу. Вы-то возьмите: ведь я её пять лет кормил...

– Молчи, молчи! Ты говоришь что-то совсем несообразное!

– Нет, сообразное, – чуть не плачет городской. – Куда она беличий салоп девала? Белка-то, ваше благородие, полюбовнику на халат пошла. Теперича она в шелковых чулках щеголяет, а где мои две ситцевыя рубахи? По крайности хотьбы по пяти целковых в неделю...

– Полно, стыдись и говорить-то это.

– А она, нешто, стыдится? Она вон пришла, да бок у самовара проломила.

– Ах, бедный, бедный! – качает головой жена Мишеля. – Мишель, я все думаю, что бы ему теперь дать почитать такого, чтобы подходило к его положению?

Мишель задумывается.

– Дай ему Анну Каренину Толстого, говорит он. У Каренина он научится мужеству в несчастьи.

– Но ведь Анна Каренина с одним Вронским, а тут трое соперников. Она с тремя...

– Какое, сударыня с тремя! Об трех бы я и не говорил! – утирает кулаком слезы городской, – графский камардин четвертый, правоведа-мальчишку подцепила, офицер уланский, околodочный из седьмого участка! Да, что, всех и не перечтешь!

– Послушай, Мишель! Уж это происшествие выходит из

ряда обыкновенных. Тут и романа такого не подберешь, всплескивает руками барыня.

– Дай ему «Отцы и дети» Тургенева или «Накануне». Или нет, дай «Что делать?» Пусть хоть он тем утешится, что ревность, по иным понятиям, есть не что иное, как брезгливость. На тебе, Уваров, сигару! Это хорошая сигара, гаванская... говорит Мишель.

– погоди, Уваров, сейчас я тебе принесу книжку. Ты, наверное, найдешь в ней и исход, и утешение, – прибавляет жена Мишеля, и идет по направлению к балкону.

Городовой встрепенулся.

– Вот отстою на часах, приду домой, да ежели застану её, стерву, такую встряску, ваше благородие, задам, что небо то с овчинку покажется! – восклицает он и сжимает кулаки.

ХII. Старая Деревня

Порядочное, состоятельное семейство, прожив одно лето в Новой Деревне и переиспытав все беспокойства и терзания, сопряженные с прозябанием в этом вечно ярмарочном месте, на следующий год, наверное, поселится в Старой Деревне, где жизнь уже спокойнее, тракторов и портерных меньше. Обитатели Старой Деревни – люди семейные. Ремесленник, ежели и поселяется сюда, то отнюдь не для того, чтобы открыть мастерскую или лавочку и потом эксплуатировать своего брата дачника. Здесь он живет исключительно для отдыха, окружённый своим семейством. В Старой Деревне есть много англичан-купцов, из года в год арендующих дачи, много немцев-купцов, всячески старающихся походить по своей внутренней и внешней складке на англичан, много русских купцов, оперирующих на бирже, утративших свой первоначальный тип и отдавшихся подражанию англичанам и немцам. Обитатели Старой Деревни наполовину рыболовы и охотники до экскурсий на лодке. Они щеголяют друг перед другом гичками, рыболовными принадлежностями, купленными в английском магазине, эксцентричными костюмами. Многие держат здесь как верховых, так и упряжных лошадей, коляски и выезжают по вечерам на елагинский пуант. Около пяти часов дня за воротами дач вы встретите лакеев во фраках и белых галстуках, успевших уже

накрыть стол и ожидающих приезда из города своих господ. Биржевые дни, как вторник и пятница, ознаменовываются здесь поздним приездом из города, серьёзным настроением дачников, суровыми лицами, капризным педантизмом. Англичанин и немец, приехавшие в эти дни с биржи на дачу ранее обыкновенного, ни за что не сядут обедать ранее шести часов. После обеда – отдых на мостках, перекинутых через канавку, с хорошей сигарой, стиснутой в зубах, со взором быка, смотрящего на проходящий мимо него поезд железной дороги. А по аллейке, около дач, шныряют дачницы, яхт-клубисты, в фуфайках и яхт-клубских фуражках, по дороге проезжают шикарные коляски, с развалившимися в них бакенбардистами, спешащими на острова, на елагинский пункт.

К таковому мужу, крепко стиснувшему зубами сигару и предавшемуся невозмутимому отдохновению, подходит жена.

– А у нас сегодня Васенька чуть глаз себе не выколол, – рассказывает она. – Пришел шарманщик с обезьяной...

– Огы! – издает утвердительный звук муж, даже и не пошевелив головой.

– Да что ты, как будто и не отец? Ведь ребенок мог-бы и окриветь.

– Ведь не окривел-же, – цедить сквозь зубы муж.

– Ах, Петя, какая обезьяна! Восторг! Потом монах приходил с Афонской горы и образа продавал. Руки у него татуи-

рованы молитвами, на груди наколото изображение Иерусалима! и грудь такая волосатая.

– Угы!

– Англичанка из большой дачи удила рыбу и вытащила щуку. Ветер шляпу у неё с головы в Неву сдунул. Неудобны эти шляпы с широкими полями.

– Игы!

– А ожидая тебя к обеду, я до того испугалась: вдруг, у нас по улице несётся лошадь со сломанной оглоблей, сшибла разнощика с дынями. Я гляжу – детей нет, кричу: мамка! нянька!

– Гм! Огы!

– Потом, вот потеха-то! ехал на извозчике музыкант с контр-басом и уронил. Ну, разумеется, вдребезги!.. Мальчишки подымать начали осколки, потому он колесами переехал... Годится этот контр-бас? Поди, склеить можно?

– Угы!

– Да что это ты все только гамкаешь, и не добьешься от тебя ни одного слова.

– Огы!

Мимо проходят яхт-клубисты, в тельных фуфайках и жокейских фуражках. Жена переносит на них своё внимание.

– Опять кататься едете? – спрашивает она. – Да как у вас сил хватает?

– Сгребаться идем. Завтра гонка. Мы уже решили взять приз и до тех пор не успокоимся, покуда не возьмем, – отве-

чает кто-то из гребцов. – Ах, Анна Ивановна, ежели-бы вы знали, как мы себя ведём всю эту неделю! Вина и пива ни капли, через это одышка делается, обед и завтрак без хлеба и чай, чай, чай. Оглоблин вон вчера девять стаканов за при-сест... Это мы пот из себя выгоняем. Всё сосредоточено для того, чтобы сохранять силы. Завтра, завтра...

– Со щитом или на щите...

– Непременно со щитом. Наш рулевой, дядя Герман Карлыч, поклялся своей лысиной... Прощайте, однако, пора!

А вот, на другом помосте, перекинутом через канаву, сидит дачник, в красной канаусовой рубаше, в синих плисовых шароварах, в лакированных сапогах бутылками и в полярковой шляпе грешневиком, перевитой цветными лентами и павлиными перьями. Он собрал вокруг себя мужиков. Мужики стоят и осматривают его с ног до головы; на лицах улыбки.

– Я, господа, такой же славянин, как и вы, и потому не хочу пренебрегать русским костюмом, – говорит он с заметным немецким акцентом. – Сочувствовать русскому народу надо и по внешности, так сказать, сливаться с ним и оболочкой. Поняли?

– Это действительно, что говорить? – откликается кто-то, – ласковые господа приятнее, а то вон иной так и норовит тебя в ухо. Что хорошего? А вы завсегда сигарочкой, водочкой...

– Я славянин и горжусь этим. Поняли? Но разница между

нами та, что вы с Волги, а я с Дуная. Я такой же русский.

– Нет, Богдан Иваныч, это зачем же? Ты немец, только немец обстоятельный, ласковый...

– Что вы, что вы! Я славянин, я чех, я ненавижу немцев.

– Ой, немец! Ты вон и в церковь не ходишь, а в кирку. Шутишь, Богдан Иваныч.

– Чех, говорю вам, славянского племени; а что до религии, то это всё равно.

Мужики улыбаются.

– Нет... коли ты русский, то ты и молись по-русски. Вчера я вон вошел к тебе в горницу, снял шапку и перекреститься не на что, а ты повесь образ, затепли лампадку по усердию.

– Это нейдёт к делу. Я и ваши русские народные песни знаю: «Хуторок», «Стрелок», «Камаринского мужика», «Вот мчится тройка удалая». Я и ругаться по-русски умею.

– Ругаться мудрость не велика! Ругаться немец первым делом учится, потому у нас ругань лёгкая, способная, что твой бархат, и ко всякому слову подходит, а ты просиди-ка великий пост на грибах, да на кислой капусте; вот, барин, тогда мы и скажем, что ты русский.

– Не называй меня барином, с 19-го февраля бар нет. Не люблю этого слова. А что до грибов и кислой капусты, то я их до безумия люблю и всегда, когда водку пью, то закусываю кислой капустой. Я русский, и по мясу, и по крови, потому что славянин, а по-славянски у вас и евангелие в церкви читают.

Мужики смеются.

– Нудно это, Мироныч, всё был немец Богдан Иваныч, и, вдруг, русским стал.

– У меня и имя чисто русское. Богдан – Богом данный.

– Это всё так, а, всё-таки, внутри-то себя всё-таки Карла Иваныча содержишь.

– Ах, братцы, как трудно с вами разговаривать! – всплескивает руками дачник. – Наконец, ведь и вы, ежели так говорить, не чисто русские, а наполовину татары, потому что татарское иго тяготело...

– Ну, это ты, барин, врешь! Ты говорить – что хочешь говори, а обижать зачем-же? Какие мы татары? Мы и свинину едим и водку пьем. На татарине креста нет.

– Да ведь это путём исторических событий.

– Нет, уж это ты оставь, это лишнее. Мы с одной женой живём, кобылятины не жрём.

– Ну, хорошо, хорошо. Знаете, я и балалайку себе купил, – люблю русский инструмент.

– Балалайка вещь занятная, а только зачем христианские души татарами обзывать?..

– Да, довольно, довольно! Я и трепака плясать умею, балясы девушкам точить.

– В балясах мудрости не состоит, а только зачем тебе, барин, в русские лезть? Немцем у нас жить много полезнее! Ты, барин...

– Опять барин. Ежели я ещё раз это слово услышу, я пе-

рестану разговаривать и уйду.

– Ну, прости, Богдан Иванович.

– Давайте слово, что не будете меня барином называть.

Ну, протягивайте руки.

Мужики хлопают по ладони дачника.

– Зачем же ты это, барин, черкесом-то вырядился? – опять задает вопрос кто-то.

– Как черкесом? Я надел русский костюм; это народный русский наряд.

– Русский наряд не такой.

– Полно-те, господа, вы не знаете. Ну, братцы, пойдёмте ко мне, сейчас я вас водкой и пивом угощу, – говорит дачник, – и на закуску есть прелестные раки.

– Водки и пива давай, а раков мы не едим. Нешто можно гада есть? Ты писание-то читал ли? А ещё говоришь, что русский! Русским рак не показан. Срамятся иные, жрут, да ведь и Богу отвечают.

– Ну, так пирог есть, пирожком закусите. Сзывайте своих товарищей!

Рыжебородый мужик начинает скликать.

– Иван! – кричит он, – иди сюда!

– Что там? – отвечает Иван, находящийся через несколько дач.

– Иди, в убытке не будешь! Тиролоец водку пить зовет!

Восемь часов вечера. Обладатели колясок понеслись на Елагин остров, на пуант. Поехали туда и всадники. Перене-

сёмтесь и мы в это модное место.

Красным шаром опускается в воды взморья солнце; Нева гладка, как стекло; то там, то сям движутся лодочки. На картину эту взирают тысячи глаз, прикрытых пенсне и лорнетками. Коляски, соломенные кабриолеты, шарабаны, лошади в шорах, пони – все это остановилось и группируется на мыске. Мелькают лихие кавалеристы, статские всадники, франты с одноглазками {моноклями} перебегают от коляски к коляске, становятся на подножки и разговаривают с помещающимися в колясках дамами, накрашенными, набелёнными, разутюженными, прикрытыми вуалями, с собачонками в руках.

– Думаю ехать на Дунай и поступить в армию простым рядовым, – рассказывает даме совсем износившийся молодой человек, с одноглазкой, втиснутой в орбиту глаза, и трясется на жидких козлиных ножках. – Там уже есть один рядовой камерюнкер, так пусть будут двое.

– Но кто же останется при князе Петре? – задает вопрос дама.

– О, его утешит наш правитель дел Манифакелфаресский. Преуморительный семинарист! Является к князю и жует сухой чай, чтоб вином не пахло; розовым маслом душился. Ну, и пусть с ним остается, а я на Дунай. Я разочарован, мне терять нечего.

– Теперь нужны жертвы и жертвы! – вздыхает сидящая рядом с дамой компаньонка, с болонкой на руках, закатывает

под лоб глаза до белков и целует собаку в морду.

– Я, Таисия Дмитриевна, был влюблен, влюблен страстно, безумно!.. – шепчет молодой человек. Я каюсь, она была женщина не нашего круга.

– Да, да, помню, она, кажется, из Бразилии или с острова Борнео... испанка?

– Испанка. Но корабль мой разшибся о скалы, здание рухнуло. То теплое, то святое чувство...

– Ah, mon Dieu! – вздыхает снова компаньонка и снова целует собаку в морду.

– Тот якорь, в который я веровал, как в непоколебимую силу... – продолжает молодой человек и вдруг меняется в лице.

Голос его осекается. Вдали он видит тучную фигуру портного, кивающего ему головой.

– Довольно! Трудно об этом говорить! – наскоро произносит молодой человек и даже забыв раскланяться, соскакивает с подножки и бежит, лавируя между экипажами.

– Herr Tenkoff! Herr Tenkov! – кричит ему вслед портной, но того уже след простыл.

Поношенный молодой человек подходит к рослому бородачу в пенсне, и, озираясь по сторонам, говорит:

– Едем, Мишель, домой! Или нет, едем на Крестовский! Здесь сыро.

– Постой немного. Я вот все люблю эту француженку, – отвечает бородач. Вот породистость-то, mon cher! По-

смотри на её руки. Этот овал лица, стиснутые губы. И отчего это у нас не принято выдавать женщинам медали за породистость? Удивляюсь!

– Пойдем, Мишель, искать коляску. Право, мне что-то нездоровится. Должно быть, оттого, что я две сигары выкурил, – озирается по сторонам поношенный молодой человек, но только делает несколько шагов, как натывается на рыжего бакенбардиста.

– Ah, monsieur Тенков! Послушайте, я хотел с вами поговорить... – раздаётся голос бакенбардиста.

– Некогда мне теперь, некогда! Извините, я завтра к вам заеду и уплачу сполна!

– Ага, теперь некогда, а мебель брать есть когда, не платить деньги есть когда?

– Не кричите, Бога ради! Я отдам, завтра же отдам.

– Нет, я буду кричать! Я уже имею исполнительный лист на вас и распоряжусь им завтра же...

Поношенный молодой человек как бы присел. Он со всем растерялся. На него направились сотни глаз. Не зная, что делать, он вдруг ни с того, ни с сего, замурлыкал какой-то оффенбаховский мотив, и, обратясь к бородачу, забормотал:

– Ты, Мишель, давеча говорил о подарке этой, как её?... Я охотно подпишу сто рублей, охотно... Да, вот еще что... Продай мне твоего серого жеребца, я его подарить хочу...

Речь его была безсвязна, монокль не вставлялся в глаз, ноги дрожали, и кончил он тем, что наткнулся на лошадь ан-

гличанина, сидевшего верхом, и начал извиняться.

Среди аристократических экипажей виднеется и купеческий шарабан, в который запряжена шведка. В шарабане – купец с подстриженной бородой и в Циммермане и купчиха в белой шляпке с целым огородом цветов. Они остановились и смотрят на закат солнца, на яхт-клубистов, разъезжающих близь берега на гичках. Купчиха пристально взирает на их тельного цвета фуфайки. Купец ласково и учтиво ругает бойкую шведку, не стоящую на месте и ударяющую копытами о землю.

– Балуй, в рот те ягода!

– Митрофан Иваныч, это зачем же они голые на лодке катаются? – спрашивает жена.

– А это яхт-клуб, и такое у них положение, чтоб в триках и акробатских костюмах, – отвечает купец. – Стой, ты, лягушка тебя заклюй! Вот каторжный жеребёнок!

– И дамы ихния в триках ходят?

– И дамы, только все в блестках.

– Что-же, они у себя в клубе на канатах ломаются?

– Нет, так, для блезиру, чтоб продувало, значит. Известно уж, какой народ! Всё больше артисты!.. Не стоит на месте, муха её залягай, да и все тут!

– И не стыдно это им?

– Чего стыдиться-то! На то артисты! на то пошли!.. Балуй, каравай те в бок!

– Вера у них какая?

– Да разная, сборная, потому тут народ и немецкого пола есть, и французского, русские, которые ежели Бога забыли... Ах, сковорода честная! Ну, что мне с жеребёнком делать?

– Застоялся. Смотри, смотри, дама собаку в морду целует!

– Не указывай перстом-то, не хорошо! Тут всё народ в генеральском чине.

– А коли в генеральском чине, так нешто можно пса в морду целовать?

– У них псы особенные, духами надушенные.

– Все-таки, не модель! А зачем это вон там барин сам правит, а халуй сзади на барском месте, сложа руки, сидит? – все еще допытывается супруга.

Купец выходит из терпения.

– Да замолчишь ли ты, бык-те поперёк! – кричит он на жену. – Через тебя и конь на месте не стоит. Уж коли впустили в хорошую компанию, то сиди и молчи. Вон французинка, в лимонных шиньонах, стиснула губы и молчит. Сиди и ты смирно!

– Насмотрелся на фрацузинок-то, так после неё тебе и жена не мила.

На глазах купчихи слезы.

ХІІІ. С дачи в город

Август перевалил на вторую половину. Небо хмуро, перепадают дожди, с деревьев валится жёлтый лист. Дачники вереницей потянулись в город. Оставшиеся ещё по каким-либо причинам на даче желчны, ёжатся, жалуются на погоду, перебраниваются друг с другом. В вагонах конножелезных дорог только и толков, что о переезде в город.

– Вы когда?

– Квартиру всё ещё не могу найти. Третий день я и жена бегаем по городу.

– Ах, Боже мой! Да вы бы в бывшую овсяниковскую мельницу. Там квартир пропасть и недороги.

– Далеко, на краю города. У меня дети учатся, самому нужно каждый день в должность, на Литейную.

– Но конно-железная дорога, – она мимо проходит.

– Надоела мне и здесь эта конно-железная дорога. Разве в Новой улице посмотреть, у квартирного фабриканта Рота? Дорожится тоже. Комнаты – клетки... И, наконец, это паровое отопление!..

– А мы так с мужем решили ещё пожить до первых чисел сентября, – ввязывается в разговор желтолимонного цвета дама. Бывает ещё очень хорошо на даче. Видели возрождающуюся природу, хотим видеть и её вымирание.

– Ври больше, – шепчет про желтолимонную даму корич-

невая дама, с пятнами не искусно положенных белил на лице. – Выехать не с чем, вот ты и будешь ожидать умирания природы. Хозяин уже к мировому подал, – добавляет она.

– Не говорите! – отвечает соседка. – Ежели бы вы слышали, как её в мясной лавке честят – срам! Набрала в долг и не платит. Разнощики по утрам толпою осаждают за долгами. Даже, угольщику-чухонцу ухитрилась задолжать. Уж он её вчера ругал, ругал.

Мясники, зеленщики и мелочные лавочники просто караулят дачников.

– Нет, уж я в гроб лягу, морозом заморю, а эту полковницу без денег с дачи не выпущу! – говорит мясник, стоя на пороге своей лавки и спрятав руки под передник. И ведь что ни на есть лучшая места, окаянная, брала: то вырезку, то ростбиф. Вот олухи-то отпускали! – кивает он на приказчиков. – Кружевницу тут до чего она запутала! Сама у неё кружева в долг брала и сейчас-же соседям продавала. Вчера та проходила мимо – плачет.

– Про чиновника из четырнадцатого номера слышал? – откликается мелочной лавочник. – Табашник и я караулили его, караулили. Перевёз потихоньку одежду, подушки, посуду, да и исчез с дачи. Мебель-то не его была. За город отместился. У табашника тридцать восемь четверок табаку, гильзы, да два рубля деньгами брал. Тюфяк даже свой перетащил. Тюфяк-то духом надувался. У надувного человека и тюфяк надувной.

За утренним чаем сидит мать с дочерьми. На лицах какое-то озлобление. Молчат. На улице дождь.

– Вот, просились на дачу, а что сделали хорошаго? – первая прерывает молчание мать. – С чем мы теперь съедем? Говорили: женихов найдём, на лёгком воздухе мужчины влюбчивее. Влюбчивее на легком воздухе – это точно, но только тогда, когда за невестами есть прилагательное. А за вами только по выеденному молью беличьему салопу. Где они, женихи-то?

– Ах, маменька, кто же знал, что будет эта самая мобилизация? – откликается старшая дочь. – Гвардия в походе, наконец, ратники. Более половины женихов на войну ушло.

– Гвардия! Да разве вы гвардейския невесты? Уж хоть-бы калек себе, или пожилых вдовцов залучили.

– Нет, это уж год такой, – добавляет младшая дочь. – Неурожай на женихов. Вон фруктовщицы и почище нас – штукатурились, штукатурились целое лето, плясали, плясали, а что выплясали и выштукатурили?

– Так за фруктовщицами, по крайней мере, хвост был, а вы всё в одиночку бегали.

На балконе появляется дворник и слегка стучит в стекло.

– Ах, опять этот несносный дворник! – восклицает мать. Что тебе, любезный?

– Будто уж не знаете что! – говорит с балкона дворник. – Полноте притворяться-то! Знамо, за деньгами пришел.

– Я ведь тебе сказала, что в конце лета деньги отдам.

– Да ведь теперь конец и есть. Хорошие люди съезжают уж. Помилуйте, месяц хожу...

– Друг мой...

– Нам вашей дружбы не надо. Пусть она при вас и останется, а нам деньги пожалуйте.

– Я сказала – в конце лета, в конце лета и отдам. Мы ещё и не думаем съезжать; мы еще и половину сентября проживём. Ведь тебе за воду заплочено.

– Ну, господа! – разводит руками дворник. – И куда это только хорошие господа девались?

– Машенька, вынеси ему двугривенный на чай, авось отстанет.

– Но, маменька, у нас всего шесть гривен...

– Вынеси, говорю.

Дворнику выносят. Он взвешивает двугривенный на руке, смотрит на него, чешет затылок, плюет и сходит с балкона.

Вот из дачи выезжают возы с мебелью. Кухарка сидит поверх всего, на диване. В руках у неё кофейная мельница и кот в мешке. Горничная осталась, чтобы ехать с господами в карете. Карета стоит тут-же. Горничная, стоя у ворот, прощается с соседским лакеем. Глаза её заплаканы.

– Прощайте, Пелагея Дмитриевна, не забывайте нас грешных! – говорит лакей.

– Вы-то не забудьте! Поди, переедете в город и плюнуть не захотите.

– Мы-то вас будем помнить в самом разе, а вот вы, как

приедете в город, сейчас и начнёте мужской пол обозревать. Ну, смотришь, мелочной лавочник какой-нибудь сережки в два двугривенных подарит, а то росписную чашку.

– Зачем такая низкия слова?

– Затем, что ваша сестра простор любит. Мы на Васильевском острове, вы на Песках.

– Это вот вы – так завсегда непостоянное коварство в себе содержите, а мы никогда. Сами же вы рассказывали, что вам ваша нянька англичанка глазки делает.

– Англичанка нам всё равно, что плюнуть, да растереть. А у вас, опять же, барин, и человек молодой.

– Барину у нас от барыни хвост пришпилен. Прощайте, однако, пора! Вон наши уж в карету садиться хотят! – суетится горничная и протягивает руку.

– С холодным жаром и прощаться не хочу, – отстраняет руку лакей.

– Какого же вам еще прощанья надо? Ведь уж вчера, простилась по-настоящему.

– Как какого? Чтоб в губы... Шутка – целое лето гуляли вместе!

– В губы нельзя, – народ... Вон мелочной лавочник смотрит... дворник стоит.

– Коли хладнокровие в себе чувствуете, не надо и прощанья. Нет, я вижу, что тут барином пахнет!

– Ах, какой вы, право! Ну, зайдите за дом. Там и поцелуемся.

– Маша! – раздаётся крик в саду, где ты шляешься? – Мы уж едем.

Горничная стремглав бросается к карете. В карету начинают садиться. Вывели старуху под руки. Старуха совсем дряхлая.

– Ногу-то можете на ступеньку занести? – спрашивает её нянька с ребенком.

– Могу.

Старуха пробует сесть, но не может. С козел в полоборота смотрит извозчик.

– Пропихни её в спину-то, поддай слегка сзади, вот она и внедрится, – говорит он няньке.

– Где тут пропихнуть, коли у неё нога не поднимается. Пихнешь, а она клюнется носом.

– Подсадить вас, сударыня?

– А?

– Подсадить, говорю, вас в карету-то? – возвышает голос нянька.

– Подсади, подсади...

– Вон кучер подсадит.

– Что!

– Кучер, говорю, вас подсадит. Ничего не слышит. Подсади её любезный.

Извозчик слезает с козел.

– Старья кости перетряхивать начнем. Не развалились-бы грехом, – бормочет он, берет старуху поперёк и втискивает

в карету. – Вот тоже, Бог смерти то не дает!

– Не говори уж! – машет рукой нянька.

К карете подходит барыня и ведет за руку маленькую девочку. Горничная выносит канарейку в клетке, ларец с чаем и сахаром, картонку с шляпкой. Клетку и картонку привешивают к потолку кареты, ларец ставят на пол. На колени к старухе кладут двух собак. Садится барыня. В руках у неё корзинка со стенными часами. Горничная опять бежит в сад и выносит оттуда белку в колесе и четвертную бутылку с водкой, настоянной на ягодах.

– Тише, тише бутылку-то не разбей. Это любимая настойка Петра Иваныча, – говорит барыня.

Все это помещают в карету. Влезает нянька с ребенком, вносят туда-же зеркало.

– Пожалуйста, поосторожнее. Зеркало разбить – нехорошая примета.

В ту же карету влезает гувернантка и ставит себе девочку в колени. В руках, у гувернантки котенок и два образа в серебряных ризах. На козлы ставят корзину с цветами. Туда-же взбирается и горничная и садится рядом с кучером. Ей подают клетку с попугаем. К карете подходит дворник, дворничиха и дворницкие ребяташки.

– Счастливый путь, сударыня! Дай Бог благополучно, в целости и как подобает по-христиански, – говорит дворник, держится за дверцы кареты и медлит запирать её. – На чаек бы с вашей милости! – чешет он затылок.

– Ведь я уж дала, давеча! – восклицает барыня.

– Это точно, что дали, мы вами завсегда благодарны, но так как мужики просили, то мы мебель помогали на воза укладывать. Опять же, в кухне стекло у вас треснуло...

Барыня дает двугривенный. Дворник всё ещё медлит за-
пирать дверцы кареты. Подходит дворничиха.

– Не оставьте и нас, сударыня, вашей милостью. Молочком за лето-то вас поили, – бормочет она, как-то вся искобеньясь, и сморкается в кончик головного платка. – Кринку вчера из-за вас разбила.

– Да, ведь, я и тебе, милая, подарила полотенца, ситцу на передник. Ведь тебе за молоко заплочено.

– Эх, сударыня, я тоже для вашей милости сад мела!

Барыня опять даёт. Подступают ребятишки. Дворничиха толкает их в затылки, чтоб они кланялись.

– И вам тоже? Я ведь девочке подарила старое Лизанькино платье.

– Не обессудьте, сударыня, отвечает за них дворничиха, – тоже дети, пряничков хотят. Они для вас старались, траву из дорожек выщипывали. Сынку-то моему ничего не перепало, а его ваша собачка в прошлом месяце как за ногу тянула! Что вам по пятиалтынничку? – плюнуть. А они за вас Бога помолят! Кланяйтесь, паршивцы, просите!

– Сударыня! – начинает мальчик.

Девочка тыкается головой в юбку дворничихи.

– Ну, поборы! – вздыхает барыня и дает дворниковым ре-

бятишкам по мелкой монете.

Дворницкое семейство кланяется.

– Ну, Господи, благослови! Трогай! На следующее лето жалуйте!

Дворник захлопывает карету. Карета трогается.

– Стой! Стой! – машет руками ситцевая рубаха с небритым подбородком, по виду, отставной солдат, и, сняв картуз, подходит к стеклу остановившейся кареты.

– Что тебе, любезный? кто ты такой? – задает ему вопрос барыня.

– Дворник с соседской дачи, Иван, – откликается тот. – Мы, сударыня, в очередь с вашим дворником вас же по ночам караулили. Как я старался в колотушку-то бить?

– Ну, так что-же? Это твоя была обязанность.

– Моя обязанность своих господ караулить, а я и вас караулил. На чаек-бы с вашей милости следовало.

– Это уж из рук вон! Извозчик, пошел! – восклицает барыня.

Карета снова трогается. Соседский дворник скашивает глаза по направлению к карете.

– Сволочь! Шарамыжник! – бормочет он вслед. – И куда это только хорошие господа задевались?

Два дачника тоже смотрят вслед удаляющейся и до невозможности туго набитой и людьми, и животными, и вещами карете.

– Совсем Ноев ковчег, – говорит первый дачник.

– Чистых по паре, а нечистых по семи пар, – дополняет другой.

Дворницкое семейство входит в опустелую дачу. На полу валяются лоскутки, никуда не годное тряпье, картонки из-под табаку и папирос, сено, оставшееся от укладки посуды, на подоконниках оставлены банки и склянки с недопитым лекарством.

– Эво, какую аптеку оставили! – кивает дворник на склянки. Которые пустые – продать надо. Постой, вот пол-банки с каким-то снадобьем. Желтая... Фу, какой яд! – нюхает он. – На, вот, приberi. Лекарство, надо быть, хорошее, обращается он к жене. Ужо, вот, у ребятишек заболят животы, так и дашь им по ложке.

– Да это лекарство для ноги, барин им ногу мазал, – возражает дворничиха.

– Так что ж, что для ноги? Коли для ноги хорошо, то для живота ещёе лучше. Бери! Да сходи на ледник и посмотри не оставили ли чего съедобного.

– Где уж оставить! Даже и дрова все до полешка единого вывезли. Сквалыги какие-то!

– Сходи, говорю.

– Не пойду. Ты нарочно меня теперь посылаешь, чтобы деньги у ребятишек отобрать и в кабак их снести. Не давайте ему дети.

– Что? Брысь живым манером, коли я приказываю!

– Не пойду!

Бац! бутылка из-под сельтерской воды летит в женщину.
– Убил, убил, мерзавец! – кричит та.

Дворник отнимает у ребяташек пятиалтынные и бежит в кабак.

У гадалки

У мелочной лавочки, на углу одного из грязнейших переулков, обстроенных деревянными домишками, остановились парные сани, с сидящей в них пожилой женщиной в чернобуром салопе. Лакей, в гербовой ливрее с меловым воротником, соскочил с запяток и бросился отстегивать полость саней.

– Нет, нет, Андриан, не надо пока! – сказала барыня. – Зайди прежде в мелочную лавочку и спроси, где здесь живёт ворожея. Слепая она, чухонка... Тут её все должны знать.

Лакей бросился в мелочную лавочку.

– Где у вас здесь ворожея живет? – обратился он к мелочному лавочнику.

– А у вас собака пропала, что ли? – встретил его, в свою очередь, вопросом лавочник.

– Нет, у нас все цело. А только сама генеральша приехала и хочет насчёт собственных похожденияв гадать.

– Генеральша?!.. – протянул лавочник и вышел из-за стойки. – У нас тут две ворожеи: казак один за ворожею гадает на ружейной дроби и, окромя того, чухонка слепая – на картах... – прибавил он.

– Ну, вот, её-то нам и надо! как пройти?

– А это по нашему двору будет. Как в ворота войдешь, сейчас смотри, где помойная яма. Понял? её ты не огибай, а

рядом увидишь дверь, обитую рогожей, и на ней сапог; в эту дверь и входите. Тут она у сапожника и живет. Только вам бы лучше к казаку... Тот – с молитвой... – сказал лавочник.

– Приказано слепую чухонку розыскать... – ответил лакей и вышел на улицу.

Лавочник последовал за ним.

– Здесь, ваше превосходительство! – подскочил к генеральше лакей. – Извольте выходить.

– Вам ежели сердце, сударыня, приворожить, то лучше к казаку ступайте, – прибавил лавочник.

– Андриан! Скажи ему, чтоб он не совался не в свое дело... – вздохнула генеральша.

Лакей махнул рукой лавочнику: «дескать, молчи» – и повел генеральшу на двор.

Двор был грязный; попадались какие-то навесы со стоящими под ними телегами, амбары; на дверях одного из амбаров мелом было написано: «я картина, а ты скотина». Из-за угла выскочила собака и бросилась на генеральшу. Лакей принялся отгонять. Собака хуже, так и заливалась лаем. Вышла баба и догнала собаку.

– Вы к скубенту, что ли? Тут у нас скубент в газетах пропечатался... – спросила она.

– Нет, нам ворожею, слепую чухонку, – отвечал лакей.

– А... вот в эту дверь. Только вам придется подождать, – народ есть. У вас серебро верно пропало?

Ответа не последовало. Лакей отворил дверь, обитую

рогожей, на которой была вывеска с сапогом и надписью: «Сапож. ц. маст. Трифон Куз.» Барыня вошла в кухню, где её так и обдало запахом кожи, печеного хлеба и дыма. У окна сидел сапожник в тиковом халате и набивал коблук у сапога.

– Ворожею бы мне... – сказала барыня.

– Занята теперь. Извольте присесть...

Сапожник указал на лавку. Барыня села. Лакей стал у дверей. В кухне, на полуобломанных стульях, сидели трое: купец в енотовой шубе, молодая разряженная барынька в опущенной соболями шубке, с плутовскими глазками и с бриллиантовыми кольцами на пальцах, да пожилая женщина в сером байковом платке на голове и в кацавейке. Купец вздыхал и отирал потное лицо фуляром.

– Однако долгонько она бари́на-то исповедует, сказал он и мигнул на дверь. – Вы здесь в первый раз, сударыня? – обратился он к генеральше.

– В первый раз, – отвечала та, хмурясь.

– Из-за воровства или по части мужниного запоя?

– Андриан! – вскинула барыня глазами на лакея.

– Не извольте, господин купец, не в свое дело лезть! – дернул купца за шубу лакей. – Оне – генеральша.

– Что-ж, и у генеральш мужья запивают. Будто и спросить нельзя?! – огрызнулся купец.

– Сидите и свою думу думайте!

Купец умолк, стал смотреть по сторонам, изловил на стене таракана, оторвал у него две ноги и бросил его на пол.

– Это неверная примета, чтоб ноги тараканам рвать, – все равно водиться будут... заметила ему женщина в платке. – Бурой ежели – не в пример лучше...

– Ах, как долго! Это даже ужаси как удивительно... прошептала молоденькая барынька в соболях, и, встав со стула, под села на лавку рядом с генеральшей. – А страху подобно, как эта самая гадалка верно гадает, и, ведь, сама слепая... обратилась она после некоторого молчания к генеральше. – Выберете вы, примерно, карту, и ежели вы на коварного мужчину гадаете, то непременно должны этой карте глаза выколоть, королю то-есть, – и как на блюдечке всё об этом предмете вам расскажет... И как она при своей слепоте карты видит – ужаси подобно!

– У неё глаз один цел, но только зрак поврежден, и ежели покосясь, то она как бы в тумане обозревает, – вставил свое слово сапожник и опять забил молотком.

– Нет, совсем слепая! – возразила женщина в платке. – Я у купцов живу, так у нас хозяйка гадала насчет сына: женить его, или в монастырь на послушание... Уж так загуливал, что не приведи Бог!.. Ну-с, как пояснила ей хозяйка про все его художества, гадалка-то и говорит, ворожея эта самая: «вы говорит, барыня, не обидьтесь, а мне вам, для верности в картах, в глаза плюнуть надо. Все одно, говорит, потом умыться можете». Ну, хозяйка и согласилась. Та плюнула – и не попала. Уж ежели бы зрячая была, то попала-бы, а то до трех раз пробовала...

– Вы чьих будете? – спросил женщину купец.

– Купцов Сподвигаевых. Солью они торгуют. Окромья того воск.

– Не слыхал. Так что-же, сын-то совсем повихнулся?

– Совсем. Сvezли в монастырь, а он там до полоумия уже на нутро принимать начал и вдруг в актёры сбежал, чтобы представлять...

– Она у нас эта самая гадалка, только гадает, а ни прово-ротного зелья, ни исцеления не даёт, – пояснил сапожник.

– Как, и приворот не даёт? – спросила, вся вспыхнув, ге-неральша.

– Нет, не дает. У неё и зельев-то нет!

– Не верьте ему, даёт. Корешки такие у неё есть; окромья того, соль наговоренная... шепнула генеральше разряженная барынька. – Не скупитесь только – всё даст: и приворот, и любовную ладонку.

Генеральша смягчилась.

– А вы, верно, уж не в первый раз? – спросила она соседку.

– Совсем напротив того, и даже очень часто... – отвеча-ла та, слегка потупившись. – У меня как измена, я сейчас к ней...

– Какая измена?

– А насчет мущинов, с их стороны... По весне я была с купцом одним знакома и очень даже довольна от его бы-ла... Купец – при всем своем образовании, и даже несколько раз насчет женитьбы разговор был – вдруг, гляжу – с арфян-

кой... Я сюда – за корешком...

– То-есть... это жених ваш был? – задала вопрос генеральша.

– Не совсем, но как-бы... Они мне квартиру нанимали и потом другие покровительства...

Генеральша нахмурилась, однако продолжала:

– И помог этот корешек?

– Помог, но вышла интрига. Познакомилась я в маскараде с офицером и приехал он ко мне...

Генеральша вся вспыхнула.

– Андриян! – крикнула она лакею и поднялась с места.

Лакей засуетился, но не знал что делать. В это время из другой комнаты отворилась дверь и вышел пожилой, гладко выбритый, мужчина в виц-мундире и с орденом на шее. Генеральша тотчас-же шмыгнула в комнату на его место и захлопнула за собой дверь.

Мужчина надел шубу и ушел. Купец посмотрел ему в след.

– Ой-ой, в каких чинах! – кивнул он на него.

– Полугенерал... пояснил про чиновника сапожник. – Третий раз приезжает. Всё насчет места гадает, – место переменить хочет. Служит по суду, а теперь хочет по таможене перейти, – ну, вот, и советуется с гадалкой – выгоднее ли это ему будет.

– Так, так... – пробормотал купец. А госпожа-то, ведь, не в свой черед прошмыгнула, сказал он. – За это-бы за шиворот следовало, – ну, да Бог с ней. Видно, уж очень насчет

любовных дел приспичило!

– Гувернера для себя нового выбирают. И есть теперь у них на примете, так приехали узнать, каков он и нет ли за ним художеств насчет женского сословия... – пояснил про генеральшу лакей. – Ну, а вы, господин купец, здесь по каким делам? – спросил он...

– Прикащик нас на левую ногу обделал, так вот пришли справку сделать: в деревне у него эти самые хопунцы припрятаны, или где здесь по мамзелям розданы... – отвечал купец, лукаво подмигнул глазом барыньке в соболях, сел с ней рядом, улыбнулся и слегка потрепал её по плечу.

Былинка и дуб

Играют свадьбу. Пиршество. Невеста – жирная и рыхлая вдова-купчиха лет пятидесяти со взором коровы, созерцающейдвигающийся поезд железной дороги; жених – коренастый интендант среднего возраста, с закрученными усами и ястребиным взглядом. Они только что сейчас вернулись от венца и сидят в гостиной на диване. Официанты разносят шампанское. Идет поздравление. Гостей немного. Все больше родственники. Есть два-три купца старого пошиба с женами в длинных бриллиантовых серьгах, священник; со стороны жениха несколько товарищей по службе и древний генерал в отставном мундире без погон. Время от времени все друг с другом перешептываются и как-то двусмысленно улыбаются. Невесте и самой неловко, вследствие чего она то и дело старается заговорить с каждым из родственников, чтобы объяснить им причину выхода замуж.

– Братец, а братец, поди вам очень дико смотреть, что я вдруг опять замуж вышла? – обращается она к лысому купцу в длинном сюртуке.

– Ничего, что за диво! Самая настоящая пора. В эти годы по крайности в человеке не обманешься, потому возраст у тебя не махонький, – иронически отвечает купец. – Слава Богу, не несмышленок ты и всё понимаешь.

– Мне и самой не верится, что я венчалась. Думаю: уж не

сплю ли я?

– А ты ущипни себя побольнее за пронзительное место. Вскринешь – так значит не спишь.

– Вы все шутите, Семен Протасьич, – вставляет свое слово жених-интендант, пробуя улыбнуться, и брякает при этом шпорами под столом.

– А что ж мне на вашей свадьбе то со святыми упокой петь, что-ли? Конечно, шучу.

– Я, братец, собственно для охранения капитала замуж пошла, – продолжает невеста. – Капитал у меня средственный после покойника мужа остался, а сама я женщина слабая, сырая, никаких законов не знаю – ну и расхитили бы.

– Это действительно, – соглашается купец. – А уж теперь не расхитят.

– Ведь у меня тоже дом каменный, а по дому-то сколько хлопот! Я уж и то запуталась. Дворники воришки, так и наворят украсть чтонибудь у беззащитной женщины. Сижу это я раз и думаю: «Ну что я? Совсем былинка одинокая, которой некуда голову приклонить». И стала искать себе подпоры.

– И нашла себе могущественный дуб, – прибавил жених. – Поверь, что этот дуб сумеет тебя подпереть, Домна Протасьевна.

– Подопрет! это верно! – послышался где-то громкий шопот.

Кто-то фыркнул. Все переглянулись.

– Я знаю, ругать меня будут, что я вышла замуж, – растягивала слова невеста.

– Зачем же ругать-то? Кому какое дело? У тебя свой царь в голове.

– Нет, я к тому, что лета мои уж не молоденькия.

– Так, всегда бывает: седина в голову, а бес в ребро...

– Вот уж это вы, братец, напрасно. Ни одного седого волосочка нет. Даже у вас только ещё седина начинается, а я ведь моложе вас на десять годков.

– Не на двадцать ли? Может быть ты перепутала?

– Да что вы, братец, как будто-бы всё смешками. Вы сами знаете, сколько мне лет.

– Смешками! Опять-таки говорю, что здесь свадьба, а не похороны.

– О чем ты споришь, – наклонился к невесте жених. – Да ежели-бы и действительно у тебя были седые волосы, то я еще больше-бы уважал тебя.

– Мерси, Мишель... А вон покойник муж мой первый, даже ждал не дождался, когда у меня седина начнется. Я ему: «Зачем это тебе, Васюша?» А он мне такие слова: «Через это, говорит, самое ты поумнеешь».

– Зачем ты это рассказываешь! – дернул невесту за платье жених.

– А, что ж такое? Я родственникам, а не чужим... Они Васюшу-то вдоль и поперёк знали.

– В день свадьбы можно обойтись и без воспоминания о

покойнике. Есть даже и стихи: «мертвый мирно в гробе спи, жизнью пользуйся живущий».

– Вот, братец, какого я себе умного мужа нашла. Он сейчас и стихи подтискал! – похвасталась невеста. – Хорошо, что мне такой достался. А знаете что? Ведь я его сначала-то не себе прочила, а другой вдове сватала, тоже очень богатейшей, а она мне такие слова: «чин мал, полковника хочу». Вот он мне и достался. Сам Бог послал. Что ж, поживем, так и до полковника дослужимся.

– Домна Протасьева, обо мне вы уж пожалуста оставьте! – опять остановил невесту жених и сконфузился. – Неужто нет других разговоров? Угощайте гостей.

– Анна Семеновна, да что ж вы шампанского-то? Шампанское настоящее. Да что ж это чай не подают! Василий Васильич, прошу покорно бокальчик.

– Будьте покойны, выпьем, – отозвался гость, взяв бокал. – За здоровье новобрачных! Горько! – прибавил он.

– Ну, что за глупости! Это только молоденькие делают. А мы уж слава Богу...

– Целуйтесь, целуйтесь! Нельзя же без подслащенья, ежели вино горько.

– Следует, следует, – сказал священник, держа руку на желудке. – Ежели церковь вас благословила, так чего же стыдиться? Вот ежели-бы вне закона, то дело другое.

Невеста и жених поцеловались.

– Я собственно для того и повенчалась, чтоб в законе, –

оправдывалась она, – А то ведь бес силен. Он горами шатает. Хуже было-бы, ежели-бы без закона. А я женщина слабая. Ну, вот и чай подают. Пожалуйте, гости дорогие. Семен Семеныч, вы чаёк-то любите. А вот племяннички не пожаловали к тетке на свадьбу; а я собственно для них и обзаконилась, чтоб муж дом охранял. Умру – им же достанется.

– Охранит он тебе, дожидайся! – произнес кто-то в дальнем углу.

– Что вы говорите, Потап Потапыч?

– Я говорю, что нынче уж в воздухе веет непочтением к старшим. Старый человек замуж выходит, а молодежь в такой день и почтить не захотела!

– Вы опять всё старый да старый. Ну, чем я старуха? – перебила гостя невеста. – Правда, я не из молоденьких, да ведь и он не выюноша. Мы, Мишель, будем друг друга так называть: ты меня – мамаша, а я тебя – папаша.

– Там уж видно будет, как называть друг друга, – уклончиво отвечал жених. – Ваше превосходительство, чайку? С ромцем не прикажете ли?

– Выпью, выпью. К невесте подсяду и выпью, – сказал генерал, опускаясь рядом с ней на диван. – Вот ежели теперь меня с невестой сложить, то ровнехонько столетие с четвертью выдет, так как-же за такую древность не выпить?

– Да что вы, ваше превосходительство, года-то выставляете! И старше меня замуж выходят. Вон Терениха. Та при внучатах сочеталась, а я сирота.

Интендант не вытерпел и встал.

– Милостивые государи! Я вижу всё какие-то уколы и шпильки, – начал он. – Мне кажется, что родственники нарочно это говорят, полагая, что я женился не на человеке, а на капитале, но заверяю вас, что капитал тут не причём. Если я избрал себе подругу и старше себя, то сделал это из уважения и благодарности к доброму сердцу Домны Протасьевны, которая ещё при жизни покойного мужа неоднократно протягивала мне руку помощи на тернистом пути жизни.

– То есть как это из уважения и благодарности? А любовь? – перебила его невеста.

– О любви мы после поговорим. Она назвала себя былинкой и есть былинка действительно. Я-же буду для ней мощным дубом и докажу это!

– Вот за это, Мишель, я тебя и сама поцелую! Что верно, то верно! А то, что это всё смеются! Парикмахер голову мне убирал – смеялся, портниха платье подвенечное шила – смеялась. Знакомым боялась даже объявить, что я замуж выхожу. И зачем? Я сама себе госпожа. Меня никто не тянул замуж, ты тоже по своей охоте, так чего стыдиться? – закончила невеста и чмокнула своего жениха прямо в губы.

– Ай да, сестрица! Молодец! – воскликнул купец.

– Bravo, bravo! – зааплодировали гости.